

Виктор Славянин

Посещение мира

16+



Виктор Славянин
Посещение Мира

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Славянин В. П.

Посещение Мира / В. П. Славянин — «ЛитРес: Самиздат», 2020

Время летит, не замечая человека, уносит в небытие память о нём. И вместе с незамеченными людьми пропадает душа времени, как пыль на ветру.

Живущий ныне молодой человек ударяется о прочную стену непонимания своего времени и не находит ответа, объясняющего причины его собственных не-удач... А нужно заглянуть в недалёкое прошлое, чтобы сегодня найти ответ на главный вопрос для человека – кто я на Земле?

© Славянин В. П., 2020

© ЛитРес: Самиздат, 2020

Содержание

1	6
2	25
3	44
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Виктор Славянин

Посещение Мира

*Душа – Богу,
сердце – женщине,
долг – Отечеству,
честь – никому!*

Дуэльный кодекс

1

«Опять этот треклятый рассвет! – раздражённо подумал Мещеряк, заметив на бескрайнем ночном небе чуть приметную серую ниточку горизонта... Он неспешно шагал ночной степью, пристально вглядываясь в темноту перед собой. – Шо тот волк... Снова прятаться... Скорее бы это кончилось...»

Разглядел на чёрном фоне огромное смоляное пятно и, сторожко сделав десяток нерешительных шагов, понял, что это куст. Поравнявшись с ним, задев плечом ветки, намерился идти дальше, но зацепился ногой за что-то твёрдое, торчавшее из земли. От неожиданности присел, и готов был даже упасть на землю, затаиться.

«Корень!? – Ожёг испуг. – Чертяка! Как железный. Хорошо, хоть не бабахнуло».

Опустился на колени и принялся ощупывать занывшую от боли ногу. Ладонь внезапно коснулась холодного металла и, нервно дрожа, заскользила медленно под куст. Пальцы нащупали толстый круг, похожий на колесо, а затем, обогнув тонкий лист щита – рифлёный, точно паханный, кожух станкового пулемёта. Раздвинув ветки, он попытался пролезть глубже в куст, но, ужаленный колючками шиповника, выругался и с силой дёрнул пулемёт. Ветки, хрустя надломленными суставами, отпустили его. Машинально отвернув пробку на кожухе ствола, Мещеряк сунул в отверстие палец – вода была у самого верха, – попробовал на язык, сплюнул.

«Свежая. Спрятали недавно, видать... – Обрадовался неожиданной находке. – Значит, скоро за им придут. – И внезапную радость снова сменила тревога. – Вот только мне с хозяевами этой балалайки встречаться нету никакой пользы... кроме вреда. От, имелись бы патроны, то может быть?.. Сторожить эту железяку, когда нечем стрельнуть – дело совсем дурное. Не найду – побегу дальше».

Мещеряк лёг на живот и, осторожно шаря пальцами возле корней, извлёк из-под веток две тяжёлые коробки, наполненные лентами.

«Ого! С таким добром можно около пулемёта полежать, как у бабы под боком. – И глянул с опаской в темноту за спиной. Ему показалось, что кто-то наблюдает за ним из ночного мрака. – Если кто сунется – то ещё поглядим... Куст в этом степу – лучшей дота в Ирпене¹».

Восток только-только начинал светлеть, выталкивая на небо еле заметную серую полосу горизонта.

– Раз судьбина так распорядилась, – сказал себе он, – надобно её послушать. Заночую тут часиков до двенадцати, а там солнышко припечёт и путь-дорожку осветит. Немца, даст Бог, не принесёт в этот околот.

Улегшись возле куста и подложив под голову коробку с патронами, Мещеряк выбрал на небе одиноко догорающую звезду и стал смотреть на неё. Блёклая точка сначала горела ровно, затем начала мигать, прыгать из стороны в сторону, а потом исчезать. С неба, словно от самой звезды, опускался пряный аромат зреющего шиповника, перемешанного с запахами, неостывшей за ночь, полынной степи. Мерцание звезды, степные запахи убаюкивали. Он тряс головой, отгоняя сон. В издёрганной, переполненной тревогой, душе что-то стучало, как весенняя беспрерывная кпель, не позволяло заснуть раньше, чем осветится рассвет. Потёр глаза кулаками и, чтобы не заснуть, взялся гадать о тех, кто оставил посреди поля пулемёт со свежей водой под рубашкой и банки с патронами.

«Запахнули его под куст не от лёгкой жизни... Это ж какую надо силу иметь, чтобы тяжесть эту на себе тянуть?.. Да ещё в жару... А если человек один остался? От как я... – Он взял пилотку и вытер ею вдруг взмокший лоб. – Так и вдвоём дурную железяку пихать – далёко

¹ Линия оборонительных укреплений (Линия Сталина) из железобетонных дотов вдоль поймы реки Ипень западнее Киева, оставленная Красной армией в 1939 г. сразу после подписания «Пакта Молотова-Риббентропа».

не отнесёшь. А, может, где близко село?.. И пошли хлопцы-пулемётчики хоть малый кусочек хлеба попросить. Поночевать по-людски... Им хорошо теперь... – позавидовал он неизвестным ему хлопцам. – Сейчас бы поспать где-нибудь под стрехой соломенной, а не в этом колючем бурьяне...»

Мещеряк шёл уже три ночи, ориентируясь только по звёздам, а на зорьке закапывался, хоронился среди голой степи, как удавалось, и ждал темноты, чтобы идти дальше. И после трёх волчьих дней не мог равнодушно встречать рассвет, который своими первыми, ещё невидимыми лучами, истязал его душу, разрывая её на куски.

«А если немец эту пушку специально сюда прикатил? – Безотчётная тревога отгоняла назойливый давящий сон. – Я буду тишком спать, а они заявятся?.. Нет, – и как бы успокаивая себя, он подложил ещё и пилотку под голову. – Бандура эта, конечно, красноармейская. А то как!? «Максим» совсем старый. В Финскую уже стволы были с крышками для снега. И патроны на тряпку нанизанные, наверно? – Мещеряк открыл коробку, просунул руку, и нащупал знакомую жёсткую парусину. – У!.. Старье нашенское... Немец своей техники не кинет. Не на собственном же горбу её прёт... Не проспать бы, когда придут пулемётчики... – Он, последним усилием приподнял тяжёлые веки, нагруженные усталостью и предрассветной, неодолимой сонливостью. – Хлопцы картошки принесут... И цибули...»

Звезда сгорела.

На, начавшее просветляться, небо веки надвинули сплошную черноту... Мещеряк чувствовал, как душа, усталая, измотанная непрерывным подзиранием, проваливается в мягкую чёрную пропасть... И не мог сопротивляться...

...И из этой черноты, с той стороны, откуда он пришёл, донёсся слабый шорох сухой травы, точно по ней тянули срубленное дерево, а затем отчётливо послышались неторопливые шаги. Шум двигался прямо на него.

Сон слетел.

Повернувшись как можно тише на живот, чтобы не выдать себя, Мещеряк прижался к земле и, нащупав рукой патронную коробку, стал торопливо доставать из нее ленту. Патроны, скреблись с ужасным грохотом о железные стенки коробки.

«Сколько раз долдонил! – выругал себя он. – Заряди, сперва, а уже потом спать! Не успею! От, точно, не успею! – Пальцы суетно забегали по замку патронника. – А, может, это за пулемётом идут?»

Шаги неспешные, размеренные, как показалось, даже лениво мягкие, стучали совсем близко. На ещё тёмном фоне неба уже можно было разглядеть силуэт с винтовкой на плече.

«Наш, – вцепился в него глазами Мещеряк. – Трёхлинейка... И вещмешок добрый. И бежит нескоро. Видать, без дела особого бежит... Значит, знает куда... Показал бы дорогу, служивый... От, если б он из нашей бригады? Кому ж тут быть сейчас?.. А, может, и из другой... Если не торопится... значит, пожрать у него имеется... Вдвоём бы... Он, сперва, посидит, а я посплю. Потом он поспит...» – И уступая, высасывающему нутро, голоду и желанию по-детски безмятежно выспаться, осторожно свистнул.

Силуэт от неожиданности замер, а затем повалился на землю, как пустой мешок.

Не сводя глаз с того места, куда упал незнакомец, Мещеряк продолжал суетно заправлять ленту в пулемёт.

«От, старый дурень! – снова выругался он. – Эта железяка без второго номера больше двух патронов и не стрельнёт! А где я тут возьму себе второго номера!? Этого бахну... И опять сам один».

Он громко щёлкнул крышкой патронника, надеясь этим напугать незнакомца, и крикнул осторожно:

– Эй, ты хто!?

Темнота молчала.

– Ты кто? – уже смелее повторил Мещеряк. – Или ты глухой? Где немцы – знаешь?
– Нет! – ответил из мрака тонкий не то детский, не то женский голос, и в свою очередь спросил: – А ты кто?

– Свой! А ты давно по степу бродишь?

Но темнота промолчала.

– Из какой части? – спросил Мещеряк, в душе надеясь, что случай свёл его с однополчанином.

Вместо ответа из темноты долетел щелчок передернутого затвора.

– Не балуй самопалом! – Мещеряк безбожно выругался, как всегда уверенный, что отборный мат – лучшее лекарство против глупости. Но, сознавая, что брань не поможет, сказал: – Я из полка Егорова. Танкового. Знаешь?

Однако незнакомец не ответил.

– Из Девятой армии, – подождав минуту, добавил Мещеряк, поняв, что ему не верят.

– Кто у вас командир? – вдруг спросила темнота мягким, почти певучим голосом.

– Подполковник Егоров, – радостно ответил Мещеряк. – Знаешь?.. А ротный – Горячкин...

– Каких командиров знаете ещё? – звонко, с радостной заинтересованностью, спросила степь.

– А ты кто такой мне допрос тут выделывать?.. – возмутился Мещеряк. – Иди... куда шёл! Очень ты нужный! А то ляпану из «Максима»! Не то, что про командиров не вспомнишь, а забудешь, как тебя зовут!

Он развернул пулемёт в степь, подтянул коробку с лентой к щёчке, но вместо того, чтобы лечь и глазом ловить незнакомца в прорезь щитка, встал на колени, выпрямил спину, принялся сует-

но поправлять гимнастёрку на поясе.

«И зачем я на его кричать стал?! – Мещеряк остался недоволен собой. – Он меня не знает, я – его. А если это девка? Ещё и, правда, уйдёт. У ей жратва обязательно имеется. Девки... они запасливые. А то чего б я молчал, когда зовут? У кого харчи есть – всегда молчат... А девки особенно. – При мысли, что там за темнотой лежит женщина, сердце его вдруг забуянило, по телу медленно поползла горячая волна. Он машинально схватил пилотку и, напялив, стал аккуратно поправлять волосы над ушами. – С мужиком идти легше́й, конечно... А с девкой интересней...»

– А сами откуда? – неожиданно вырвался из темноты радостный возглас.

Мещеряк дёрнулся, словно ужаленный. Прилип к пулемёту и ответил заученно, как школяр, не поняв, чего от него хотят:

– Из Киева.

Неизвестный, видимо, спрашивал о другом. И, не ожидая такого ответа, долго молчал, а потом поинтересовался:

– А куда смотрит хвостом конь Богдана Хмельницкого?

«Для какого дьявола мне тут твой Хмельницкий!? – выругался про себя Мещеряк, но в мыслях представил памятник гетману. – Когда на трамвае от Прорезной едешь, то хвост в окно глядит, и когда к Оперному – он опять же в окне болтается... И булава тоже». – И крикнул:

– А бес его знает! Ты ещё чего спрости про Киев, я тебе разобъясню.

Степь молчала.

– Не слышишь?... Ну, хоть как на Евбаз² или на Сенной базар проехать?

– Я ничего о Киеве не знаю.

² Евбаз – Еврейский базар.

– Для чего тогда спрашиваешь!? – Мещеряку захотелось снова выпустить несколько крепких слов, но желание повстречаться с женщиной среди степи не позволило.

«Голос совсем на мужикастый... – с радостной надеждой решил он. И его облил сладостный жар. – А, точно, там девка!» – И помолчав, осторожно спросил:

– Сами вы откуда будете?

– Из Москвы.

– Давно в кадровой?

– В июле призвали, – ответила темнота.

– Так вы?.. – Он запнулся, понимая, что женщина, призванная в армию, не может быть пострижена налысо. – Небось, сами про свою Москву ничего не знаете. – И заискивающе поинтересовался. – От, скажите – на какой вокзал поезд из Киева приезжает?

– На Брянский.

«Может, и на Брянский, – подумал Мещеряк. – Я у вас отродясь не был». – И добавил вслух:

– А из Жмеринки – на Жмеринский?

Незнакомец тихо хихикнул и сквозь смех, как добрый учитель, пояснил уже уверенно по-мужски:

– Нету такого вокзала – Жмеринского.

– Тебе виднее, голомозый! – Мещеряк равнодушно отпустил несколько увесистых крепких слов, поняв, что утро подбросило ему не женщину, а какого-то юнца, и подумал:

«От так!.. Судьбину не обманешь. А что человек этот – не девка, так на то она и война. Тут на баб не разгуляешься. И не верит мне, лысая голова... Так какой дурак на середине голого степу верить другому сразу начнёт?»

Небо в одночасье посветлело. Над горизонтом полыхнула тонким красным прищуром заря, а следом выглянул пылающим зрачком краешек солнца, и его лучи сразу прогнали остаток ночной серой пелены. Вместе с солнцем из предрассветной дымки выплыла бесконечная выгоревшая равнина. Мещеряк начал злиться, глядя, как неудержимо выползает жаркое августовское солнце, разрывая редкие серо-белые тучи, вымазывая их лоскуты кровяными подтёками. И куст шиповника в одно мгновение потерял все необъятные ночные размеры: человек был виден теперь почти со всех сторон.

«Лучше тебе никогда не появляться! – Щурился Мещеряк. – И этот проверяльщик лысый туда ж, твою мать!.. Куда конь хвостом глядит!? Ему что, в зад глаза кто вставил? Штаны бы тебе стянуть да по твоему голому задку съездить от этим шиповником... Тогда знал бы, про чего спрашивать...»

Он посмотрел на то место, где лежал незнакомец и громко рассмеялся. Метрах в тридцати, не далее, из ложбинки на фоне серо-жёлтой земли виднелась светло-зелёная клякса форменки.

«Закопался, называется! – С чуть заметным раздражением ухмыльнулся Мещеряк. – Моя б воля, тебе как раз соли из «бердана» сыпануть!» – И крикнул, как кричат незадачливому приятелю-неумёхе:

– Эй, храбрый Янкель, забери свой зад! Немец тебя по нему мигом углядит и одним залпом две половины срубит. Давай сюда.

– Идите вы сюда.

– Я в укрытии, а тебя из всех боков видать. Спрячь задницу сперва, а потом командуй! Ты, никак, старшина или кто?

– Я – красноармеец.

– А я – сержант! – повысил голос Мещеряк. – Аж два треугольника имею. По уставу – тебе командир. И приказываю! До меня бегом! И быстро! А то пальну!

Человек в ложбине вдруг вжался в землю. Он ещё несколько минут лежал, должно о чём-то раздумывая, затем встал на колени и, опираясь на трёхлинейку, как на посох, медленно поднялся.

– А ну, ляж! – крикнул Мещеряк. – И не моги вставать! Божий день кругом! Немец, як коршуняка подлючий, где-то летает и всё видит! Ползи, дурная башка!.. Только гляди не стрельни случаем. Винтовка сама может бабахнуть...

* * *

Мещеряк стоял на коленях и смотрел на ползущего, как на диковинку.

– Как ты тут очутился? – спросил он вместо приветствия, когда незнакомец уселся неуклюже возле куста, гоголовый в любую минуту сбежать.

Это оказался совсем молодой красноармеец, худой, сутулый, с прыщеватым, бледно-серым круглым лицом и огромными голубыми глазами, которые светились тревогой. И, натыкаясь на взгляд Мещеряка, он по-девичьи смущённо опускал их, прикрываясь, как шалью, густыми белёсыми бровями. Между этими широко посаженными кружочкам чуть заметно торчала кнопочка носа, походившего на большую фасолину. А чтобы этот шарик не скатился с лица, его подпирала тонкая длинная ниточка плотно сжатых губ. Он был одет в свежую командирскую форменку, в синеватых петлицах которой вместо «кубарей» одиноко белели сабли, схваченные кружком.

– Напугал ты меня крепко, хлопец. Слышу – кто-то идёт, а у меня пулемёт незаряженный. Шлепнул бы я тебя, как глупую куропатку... Сперепугу, – сказал Мещеряк, отвечая улыбкой на искрящийся взгляд, и подумал: – «Ай, какой молоденький да красивенький. И чего тебе на этой войне быть? Никак тебя мамка потеряла, а теперь убивается, сердешная. Такие должны долго жить и глаз людской радовать. Ну, я тебя до своих доведу. Какаясь девка мне спасибочки потом за тебя скажет...» – И делая серьёзный вид, пояснил, точно оправдываясь: – Ночью не разберёшь... где свой... А вот, что тебя надыбал – это здорово... Пожевать бы сейчас. – И вопрошающе посмотрел на парня.

Красноармеец, казалось, совершенно не слышал слов. Он настороженно рассматривал Мещеряка, обдавая его короткими вспышками голубоглазого огня, и старался устроиться удобней. Сел рядом с пулемётом, подтянул к ноге трёхлинейку и, не выпуская её из правой руки, вместо ответа спросил звонко:

– Документы у вас есть?

– А зовут тебя как? – спросил Мещеряк.

– Документы покажите.

Красноармеец надул щёки, чтобы добавить лицу серьёзности, но из этого вышла смешная детская гримаса.

«Пустое место, а порядок в степу наводить, – подумал Мещеряк, радостно глядя на парня. – Одной рукой, как комара, придавил бы». – И не сдерживая улыбки, сказал добродушно:

– Если надо, то гляди.– Расстегнул карман гимнастёрки, достал оттуда толстую пачку бумаг, перевязанных дратвой, и протянул их незнакомцу. – Тут у меня всё. Даже последняя увольнительная сохраняется. За двадцать первое июня... Не успел я её сдать. Она сейчас поглавней красноармейской книжки будету... Я уже до своей палатки, где у меня койка, подбирался, как самолёты нас бомбами закидывать стали. Загулялся я мало-мало. Запоздал из увольнения. Если б не проклятый немец – десять суток «губы» схлопотал бы. У нас замполит – мужик был, будь здоров! Никому не спускал. Накрыло его прямым попаданием в первый же день...

Парень осторожно отложил трехлинейку, взял тонкими, длинными пальцами свёрток неловко дёрнул за конец нитки. Она развязалась, и ему на колени упал десяток фотографий молодых женщин.

– От у этой я и был, как немец попёр, – сказал Мещеряк, взяв одну карточку и следом подбирая другие. И продолжая улыбаться, спросил: – У тебя пожрать имеется чего-нибудь?

– Фамилия как? – Парень, не слушая, внимательно разглядывал увольнительную.

– Или ты читать не наученный? Младший сержант Мещеряк, Матвей Самсонович. Рождения девятьсот первого. Правда, про это там не зазначено. Ну, это так... Проверь, проверь! До ночи далёко.

– Я имею право всех проверять. Всех незнакомых и подозрительных, которых встречу, – авторитетно заявил парень. – И почему увольнительная не на машинке напечатана, а карандашом

написанна?..

– Карандашом? – озадаченно спросил Мещеряк. – Зато печать настоящая... А ты сам-то кто такой будешь? – С деланным любопытством начал разглядывая петлицы своего нового знакомого. И подумал: – «Если бы хоть энкэвэдист задрипанный... Так тогда, понятно, выкладывай без разговору... А то лошадиный вонючий. И сразу – документа». – И добавил: – Форменка на тебе вроде как парадная, начальственная... Точно, на какую выставку привезли... А где ж твой конь, кавалерья?.. Шашка?..

– Мы – не кавалерья! – жуя губами воздух, выдал

боец. Губы его плотно сжались и исчезли с лица. – Мы... – Он долго молчал, глядя то в песок, то в бумажку, о чём-то раздумывая. – Я из специального десанта.

– Так у вас и харчи должны быть специальные. Я тоже был в десанте... Целую неделю. Как на Финскую забрали... Сразу в десант назначили. В лыжный. И тоже новенькую форму выдали... А со мной в роте такие, как ты, молодые были. Из Ташкенту. Это очень далёко... Мы, вот, с тобой говорим, а они ничего не понимали. Ой, как же они радовались новым ладным галехвам. В такой одежке на фина идтить удобней... Вот только снегу они, ни в жизнь, не видали, не то, что лыж. А им на сапоги эти длинные деревяшки примотали... и в атаку.. – Мещеряк вздохнул тяжело. – Их всех поубивало, хоть и в новых штанах были... – Помолчал и добавил: – А я для десанту не подошёл. Сильно старый для десанту... А, вот, харчи в десанте... да... От там харчи!. А теперь, видишь, до чего дожились. В степу стало тесно и на брюхе пресно. Я свою воблу давно закончил... Даже кости пережевал. Давай пожуём, если есть. А то с голоду помру. Уже двое суток ничего не ел.

Красноармеец вернул документы, развязал вещмешок, деловито порылся внутри и достал оттуда что-то похожее на прямоугольную коробочку, завёрнутую в белую тряпочку. Положив это себе на левую ладонь, пальцами правой осторожно распеленал свёрток. Там оказались, сложенные стопкой, пять коричневых сухарей. Парень осторожно, точно держал что-то очень хрупкое, протянул руку с едой к лицу младшего сержанта.

– Все можно? – спросил Мещеряк с опаской.

– Лучше один, – ответил боец.

Мещеряк схватил два кусочка, но второй сразу положил на стопку, делая вид, что это у него вышло совершенно случайно. И принялся жадно жевать. Сухарь оказался сладковатым, пропитанным ванилью.

– А как же тебя зовут, хлопец? – спросил он, хрустя сухарём.

Боец посмотрел на сержанта удивлённо, но отвечать не стал.

– Сперепугу имя забыл? – улыбаясь, поинтересовался Мещеряк.

– Александр.

– Ну, спасибо тебе, Александр, что ты мне встретился. Сержант бросил на парня благодарный взгляд, и снова усмехнулся мимо своей воли. Детская неуклюжесть и напускная насто-

роженность бойца вызывали улыбку. – От голодной смерти спас меня, считай. Сухарь у тебя, прямо, невеста. Сладкий и пахучий. Хочется... и всё мало... А ты чего не ешь? Не голодный?

– Рано, – ответил боец, стеснительно отводя глаза.

– Так ты хоть воды попей. – Ему хотелось как-то особо поблагодарить парня за сухарь.

Снял с пояса флягу, обшитую шинельным сукном, отвернул белую крышечку и протянул.

Тот, сделав несколько глотков нехотя, вернул стек

ляшку³. Затем аккуратно запеленал сухари и положил свёрток в вещмешок.

– Ну, я, малость, поплюю. – Сержант поднялся во весь рост и взялся одергивать полы гимнастёрки, расправляя под ремнём складки. – А ты посторожи.

– Спи, – ответил парень, выказывая полное безразличие. Встал на колени и принялся внимательно разглядывать пулемёт.

– Если кто появиться – сразу меня буди, – сказал Мещеряк, зевая. – Мы с тобой теперь, вроде, как пулемётный расчёт. Ты будешь... С пулемётом можешь управляться? – И заметив, как от неловкости на лице парня дрогнули брови, добавил: – Вторым номером. А по инструкции надо три.

Он опустил на колени, подлез на четвереньках поближе к корням шиповника, чтобы укрыться большим куском утренней тени, и улёгся, подложив под голову коробку с патронами. Расстегнул пуговицы на гимнастёрке и подставил грудь набегающему из степи лёгкому ветерку. В воздухе, который начал пропитываться утренним зноем, пахло перегретой землёй, перестоявшими чабрецом и полынью, и, как ему почудилось, даже песнями кузнечиков, что звучали монотонно и оттого, сладко убаюкивающе, в столь ранний час. Под аккомпанемент однообразной песни он закрыл глаза, и ощутил, что из его уставшего тела стали уходить тревога и страх. Тот самый страх, который шёл всё время рядом с ним, как россомаха, преследующая раненного зверя, не позволяя забыть, что он совершенно один в зловещем, воюющем мире.

«Сейчас высплюсь добряче, – подумал Мещеряк. – Теперь не страшно. Хлопец добрый. Сухарь не пожалел, кавалерья... Молодец. И правильно... Для чего сразу два?... А вечером ещё пожуём...»

Силы оставляли его. Не имея возможности сопротивляться, проваливался в сладкую тёмную пропасть.

– А вы – пулемётчик?

Сержант вздрогнул и сел. Иголочки шиповника больно впились в голову. Минута, которую он спал, показалась вечностью.

– Кто идёт!? – На лице застыл испуг.

– Я спрашиваю – вы пулемётчик?

– Тьху на тебя! Напугал! За три года, пока на войне – я и пулемётчик, и шофёр, – нехотя ответил он. – Захочешь остаться живой – научишься двух зайцев догонять. Так ты сторожи, а потом я тебя сменяю. Только гляди не засни.

Накрыл глаза пилоткой и провалился в сон.

* * *

Мещеряк проснулся...

Солнце уже добралось до зенита. Тень от куста уползла в сторону. Вокруг плавала всё та же тишина степного стрекотания, только жара стала сильнее. Он зевнул и сладко по-детски потянулся, заламывая руки за голову. И в это же мгновение, словно вернувшись из небытия, уселся и начал лихорадочно поправлять гимнастёрку, как нерадивый боец перед командиром.

– Шура!? – тревожно спросил Мещеряк.

³ До 1942 года в Красной армии фляги для бойцов изготавливались из стекла и обшивались шинельным сукном.

Боец спал возле пулемёта, свернувшись калачиком. Вещмешок он подsunул под голову, винтовку прижал к груди, обхватив руками и ногами.

«От тебе и часовой, – ухмыльнулся сержант. Он ещё раз потянулся с наслаждением. Встал, сбросил на землю ремень и, запустив под гимнастёрку руки, неуклюже принялся поправлять нательное белье, беспрерывно цепляя косым взглядом спящего бойца. Закончив, резким движением подтянул штаны и одёрнул гимнастёрку. – Пусть спит».

– А вы куда собираетесь? – раздался певучий голос за спиной.

Мещеряк вздрогнул от неожиданности.

– Надо, на всякий случай, оглядеться кругом, – выдавил он из себя, и остался стоять в нерешительности. – А то пока мы спали, может, немец нас окружил. Только и ждёт, когда мы из-под куста выскочим.

– А я и не спал вовсе, – сказал парень.

– Тогда ложись. А я покараулю.

Сержант поднял с земли ремень, затянул на выпирающем животе и долго возился с гимнастёркой, раскладывая складки веером на спине. Заметив, что боец пристально следит за его действиями, спросил:

– Ты чего на меня глядишь, как кот на мышку?

– Вы – младший сержант, а соврали, что сержант, – ответил парень, словно пропел. И в его словах была слышна обида обманутого ребёнка.

– Так и я ж тебя должен проверить, – смутился Мещеряк, пойманный на нелепой лжи. – Хитрость, можно сказать, военная. Младший сержант – разве это чин? – продолжал он, пытаясь хоть как-то оправдаться. – То самое, что боец, только уже командовать одним человеком имеет право. А если б ты, вдруг, с кубарями? Или аж со шпалой? Ты прикажешь – я сразу должен исполнить. Как по уставу положено. Ну, на всяк случай думал... дай, назначу себя сержантом. До того момента, как развидняться начнёт... А теперь и, взаправду, выходит, что я тебе командир... – Громко высморкался, вытер нос тыльной стороной ладони, весело улыбнулся, и заглянул в глаза парня. Голубые светлячки светили холодным блеском недоверия.

Улыбка медленно сползла с почерневшего от загара лица Мещеряка. Он смущённо отвёл глаза, пожалев, что упомянул о своём воинском старшинстве. И, усевшись, стал деловито разматывать грязные обмотки. Раскрутив правую, долго возился с левой. А когда стянул её, с некоторой опаской спросил, как будто вспомнил забытое: – А у тебя самого какой документ имеется?

– Нам не положено, – ответил парень.

– Как это? – не веря словам соседа, строго спросил сержант. – Придём до своих – что ты особистам ответишь?.. У меня – увольнительная и книжка со звездой. И то они мне не очень поверят. Сразу напишут – шпион. А могут придумать – диверсант. А тебе?.. Ты чего им предъявишь? Им надо такое показать, чтоб комар носа не подsunул...

– Мы – десант, – перебил парень. – Специальный. Я пароль знаю. Нужно – я скажу, кому положено.

– Пароль – это по-военному. Если что с нами случится, то ты придёшь в штаб и про меня расскажешь... Был, товарищи, такой

сержант Мещеряк из танкового полка... А про тебя чего я скажу? Только, как тебя зовут.

– Александр, а по отчеству Климентович, – с нескрываемой гордостью ответил парень.

– Совсем Ворошиловский сын, – попробовал пошутить Мещеряк. – Так ты ж должен быть не простой боец, а командир. Хоть такой крохотулишный, как я.

– Потому что я из детдома, а не какой-то там мамкин сынок, – заученно, строго ответил парень. – И отчество мне специально в честь Климента Ефремовича дали. У нас с ним день рождения в один день.

– Так и фамилия у тебя – Ворошилов? Или какого другого маршала? – Помолчал и добавил осторожно: – Что расстреляют, как шпиона, не боишься?

– За что? – обиделся парень.

– За шпионство... Как тех, других, маршалов?

– Фамилия у меня Бесфамильнов. Я весь придуманный нашим директором.

«А откуда ты про свой день рождения знаешь, если ты не мамкой вылупленный, а каким-то там загульным директором сляпанный?» – хотел съязвить Мещеряк, но вместо этого как бы от нечего делать заметил:

– Чудно. Фамилия – Бесфамильнов. – И начал не спеша расшнуровывать ботинки. – У нас на фабрике... Это ещё до Финской... Инженер работал. Фамилия – Безголовый, а разумный... Куда там другому наркому... Потом сказали, что он – враг. Троцкистский бухаринец.

– Или – троцкист, или – бухаринец. – Бесфамильнов сидел, вытянув длинные ноги, и напоминал согнутую, толстую жердь, которая переломится, если её неосторожно задеть. – Враг кем угодно может замаскироваться. – Сказал, и осталось не понятным, то ли он поучал, то ли поправлял сержанта.

– Чудно. И документов у тебя нету, и десант ты какой-то непонятный. Все твои друзьяки к немцам за шиворот попадали, а тебя одного сюда ветром сдуло. А парашут твой игде ж?

– А откуда вы знаете про парашюты? – нервно спросил Бесфамильнов и подозрительно посмотрел на сержанта.

– Так на то он и десант, чтоб с парашутами на войну поступать. – Мещеряк недоверчиво хмыкнул, глядя косым взглядом на бойца. – Чудно... Десант... И без парашутов?... Видать, чегой-то особенное поручили?

– А мы – специальный десант. – Парень закрыл глаза и подставил лицо жарким лучам солнца.

– Что ты – специальный десант, сразу видать. И слепой поверит. – Сержант, принялся расстилать грязные обмотки на песке. – А то кому б ещё выдали такую новую форменку и яловые сапоги, как не специальному десанту. Красивый ты, как будто только что от каптенармуса выскочил. Задание выполнил и сразу на представление в штаб. Не переодеваешься... Под этим кустом и спать в такой форменке как-то совсем не полагается. При таком параде только у милки на перинах.

– Нас тоже в обмотках привезли на станцию. И форма была ношенная. Как у вас. Только не кавалерья, – сказал Бесфамильнов, оправдываясь, и ткнул пальцем в петлицу, где красовалась подкова, перехваченная скрещенными шашками. – А потом приказали двум отделениям идти в лесок, который в пяти километрах от станции, и там искать сапоги и форму.

– Они – грибы, по лесу их искать? – удивился Мещеряк, стаскивая тяжёлый ботинок.

– В специальных секретных хранилищах спрятаны. Под землёй. На случай войны. Товарищ начальник штаба карту нарисовал на листе бумаги. Место указал. Дали паёк трёхдневный. Мы эти склады два дня искали по значкам, которые на карте нарисованы.

– Так и у вас карт не было?

Бесфамильнов удивлённо поглядел на сержанта.

А тот пояснил:

– Как немец попёр – мы, стало быть, отступать. И куда глаза глядят, бежим. Командир полка мочалит начальника штаба. А тот всё бубонит в ответ: «Где я вам, товарищ подполковник, нужные карты возьму?! У меня только Румыния!» А я караулю возле телехвонов... всё слышу. В штабе не было карт, по которым отступать, а только те, на которых Румыния намалявана...

– А нам без карт нельзя. – Боец с ненавистью прихлопнул слепня на своей руке. – Ничего не найдёшь... Немец станцию бомбил, а мы искали... Вот только один тайный склад откопали. Если бы не старшина – не нашли бы и его. Поле, дорога, овраг... Так, ничего приметного.

Холмик, как холмик, а на нём молодые акации растут. – Бесфамильнов, не открывая глаз, снял пилотку и, грубо почесав ногтями стриженую голову, снова напялил на затылок. – Поди, разбери.

– А другие погребки как же? – осторожно поинтересовался Мещеряк, управляясь со вторым ботинком.

– Мы их не успели найти.

– Дюже замаскированные?

– Когда склад раскопали, старшина товарищ Гопкало... Наш командир... Велел всем переодеться. В новое... Вот только гимнастёрка и штаны сыростью воняли. – Парень поднёс к лицу рукав гимнастерки и, громко втянув воздух в себя, презрительно скривился. При этом с лица исчезли не только губы, но и глаза. – Ну – гнилая капуста. Уже два дня на солнце – а всё равно отдаёт подвалом. Если бы не маскировка – выкинул бы эту вонь.

– Зато, совсем новое. Проветрится. Онучки хоть и смердят, а без них войску победы не видать. А скоро зима – она пустая сума!

– А зачем мне в какую-то там кавалерию? – Боец снова ткнул обиженно пальцем в подкову. И вздохнул: – Но приказ.

– Приказ на войне – дело святое, – сказал Мещеряк. Взялся аккуратно раскладывать портянки на нагретой жёлтой траве рядом с обмотками. – Пущай посохнут... Мне б такого старшину. Я б у него тоже одну пару яловых сапог выпросил... А у тебя этой самой карты не осталось? Пошли бы поискали, которые вы с вашим старшиной не нашли... Я умею... Какой погребок с харчами вдруг.

– Парашюты были, а харчей не было.

– И вы весь этот скарб на себе тащили?

– Мы должны были укрытия найти и командиру батальона доложить. Оставить часового и доложить. Потом вернуться и уничтожить. А старшина товарищ Гопкало приказал вход снова завалить. Потом он очень сильно с животом носился. Пошёл в туалет... Три часа его ждали. По кустам шарили. Пропал с картой.

– Нужду старшинскую нашли? – спросил Мещеряк.

– Это как – нужду?

– Если человек по нужде отлучается, значит, эта самая нужда после него должна оставаться.

– Не нашли, – печально ответил парень. – Никто и не искал.

– Драпанул ваш старшина. Сейчас в каком-то хуторе у бабы на чердаке лежит. Ночи дожидается, чтоб до неё в хату спуститься. И сапоги, какие вы нашли, все уже в клуню бабе перетаскал. И гимнастерки...

– Его фашистская разведка захватила! – сказал боец. На его лице застыла обида. – Нас про неё особо на инструктаже предупреждали.

– И эта самая разведка лично тебе про старшину сразу доложила? – Прищурился язвительно глаза, Мещеряк посмотрел на соседа. – А чего ж она тебя не поймала?

– Нас было четверо, а он – один. Фашисты его...

– А куда остальные подевались?

– Сбежали, сволочи! Они!.. Я сразу заметил!.. Всё время шушукались! – Его губы вдруг задрожали, а ноздри стали нервно дёргаться. Он пытался справиться со своей слабостью, но у него ничего не вышло. – Только ждали момента, как от старшины избавиться.

– От мы тут с тобой воюем, – стараясь успокоить парня, сказал Мещеряк, – а солдатский скарб из других погребов, которые не нашлись, думаю, уже – тю-тю. Твой старшина и те трое весь скарб давно растащили по хуторским дворам. И сохнут штаны и гимнастёрки сейчас на солнце, что мои портянки... А то и парашутами хлев утоптали, как бочку тюлькой.

Парень растерянно смотрел то на сержанта, то мимо него. И было видно, что он беспомощно ищет слова, которыми можно было бы отгородиться, защититься от беспощадности слов Мещеряка.

– И вообще... – начал он нерешительно.

– Ты бы свои портянки посушил, – сказал Мещеряк, стараясь помочь парню избавиться от неловкости и растерянности. – Ты ещё молодой, и портянки носить не наученный. Вроде, тряпки смрадные – хуже некуда, а на войне родную мать заменяют.

Он замолчал и долго возился с грязными лоскутами, стараясь разложить их под палящими лучами солнца. Но устав от томительного молчания, спросил:

– И где ж остальные ваши десантники специальные?

– Я на станцию вернулся... Там только горелые вагоны. Даже ни одной собаки... Фашисты всё разбомбили... За километр гарью несло.

– Моли Бога, что они тебя не застрелили.

– Кто?

– Старшина... И те двое.

– Меня? – удивлённо спросил боец. – Товарищ старшина? Да я у них за политрука был. И, вообще... Товарищ старшина наш... детдомовский.

Снова наступило неловкое, тягостное молчание.

– Ты самих немцев живыми хоть видал? – осторожно

поинтересовался Мещеряк. Он поджал под себя левую ногу и принялся деловито расчёсывать кожу между пальцами.

– Нет, – спокойно ответил Бесфамильнов. – Они надо мной... Первые два дня, пока я шёл... летали. А вчера никого не было. Даже в небе.

– Не до войны немцу вчерась было. Видать, им аванс, или получку выдавали. Дюже занятые. – И сержант уже серьёзно по-отцовски спросил: – А если бы они тебя углядели и шлёпнули, шпана безусая!?

– А зачем я им один? По одному из пушки стрелять никто не будет. Это всем известно.

– Это тебя в твоём детдоме так научили?

– Вы, товарищ сержант, что?.. Кино «Чапаев» не смотрели?

– Счастливчик ты, Шура. – Мещеряк хмыкнул отрешённо. – В рубашке родился... А я каждое утро в землю зарываюсь, как тот крот, и оттуда волком скалюсь: или нету кого кругом. Всё больше голову в бурьяне держу. – И, вытянув ноги, осторожно сказал: – А, может, у тебя ещё чего найдётся пожевать... Ну, кроме сухарей.

– Каша, – ответил Бесфамильнов. – Целая банка.

– Богатый, – радостно сказал Мещеряк. – Прямо тебе, непман! Зачнёшь есть и мёд, когда голод проймёт. Давай! Уже и обедать пора. Солнце, вона, как припекает. – Он лёг на живот и стал смотреть на парня просящим взглядом.

– Кашу – вечером, – деловито сказал Бесфамильнов. – Нам надо ещё дня два продержаться.

– Что-то важное станется через два дня?

– К своим придём.

– А каша какая?

– Гречневая.

– С мясом?

– Как положено.

«У танкиста взято... – сержант тяжело и печально вздохнул, – и вашему десанту в мешок положено». – И попросил:

– Так, может, сухарь ещё один дашь?

Бесфамильнов достал из мешка сухари и, переломив один, половину протянул сержанту, а вторую вставил себе в рот.

– А вот у нас на финской, – сказал Мещеряк, откусывая кусочек, – так только одни шпроты были. Ни хлеба, ни соли... Только шпроты сучие. Я от них очень животом маялся... От их бы сейчас сюда, миленьких.

Сержант съел, запил из фляги и, протягивая её бойцу, спросил:

– У тебя закурить, случаем, сынок, не найдётся?

– Я не курю.

– Жалко.

Он поднялся тяжело, встал возле куста и принялся обрывать ягоды шиповника. Сорвав, ногтем большого пальца разломил красный шарик. Выковырял зёрнышки, а мякоть отправил в рот.

– А пулемёт как вы катили? – вдруг спросил Бесфамильнов, словно пытался докопаться до какой-то главной для себя истины. Встал на колени возле пулемётного колеса и попробовал открыть крышку патронника.

– Да кто его в одиночку по степу волочить станет? – ответил сержант, разжёвывая звуки вместе с ягодами. – Его нести – самое малое, три человека требуется. Один – лафет за спиной на себе... Двое... – И вскрикнул возмущённо: – И кто это так с оружием обращается! Где тебя учили!? Только не лапай гашетку! – Присел, выдернул из пулемёта ленту. – И что вы за десант такой, что не умеете с таким пулемётом обращаться? Гляди, как надо... Он проще лопаты... Только дуже часто патрон перекашивает.

– А где же остальные? – перебил парень.

– Какие остальные? – удивился Мещеряк.

– Ну, вы же один не могли его сюда принести.

– А ты всё меня проверяешь? Да я ночью на него наткнулся, как слепой конь на колоду. Бросили его тут... Гляди сюда! В жизни и на войне пригодиться. Аккуратненько закладываешь патрон как раз против дырки. А другой, чтоб рядочком лежал. Как близнятки. Закрываешь патронник... и давишь на гашетку! Я давно уже не пулемётчик. После финской – уже связист. Старший, куда пошлют. При офицере связи прикреплённый. Катюшки от штаба полка в роты тягал. Вот тут, Шура, надо было немецкую разведку сильно бояться. – Он выплюнул изжёванные ягоды, встал и наполнил рот новой порцией. – Сколько она наших хлопцев переловила. Найдут провод, перекусят, а сами в кустах, рядом, залягут ожидать. Комполка или начштаб хватятся телефон крутить, а он мёртвый. Сразу бойца из отделения связи выкрикнут. «Бегом марш восстановить!» Добегает несчастный до места разрыва... И нету больше человека... А меня Бог миловал пока. – Он глянул в лицо парня, надеясь увидеть в его глазах понимание. Но тот смотрел отрешённо на пулемёт и, казалось, даже не слышал сержанта.

– Сволочи! – процедил сквозь зубы Бесфамильнов. На его круглом лице заметно взбухли желваки, а ноздри стали снова нервно вздрагивать. Его душа рвалась на части.

– Кого это ты так? – удивлённо спросил Мещеряк и повернулся всем корпусом к парню.

– Все! Оружие побросали – и по кустам!

– Да ты не кипятись, Александр, – стараясь успокоить парня, сказал сержант. – Ты лучше шиповника пожуй. Врагов можна и оружием, и без оружия сничтожать. Главное, найти нужного врага... Мы с тобой полежим под этим кустом до вечера и пойдём. А пулемёт пуцай тут гниёт. Без него до своих быстрее добежим. Там... Там другой дадут.

– Как это – гниёт!? – выкрикнул парень. – Это же оружие!

– А если б мы с тобой надыбали около этого шиповника? Замаскированную...

– И её взяли бы обязательно... Как учили? Оружие не бросать.

Мещеряк хмыкнул и искоса поглядел на красноармейца.

– А ты знаешь, какая она – гаубыца.

– Оружие такое.

– Вот, мы пойдём вечером, найдём гаубицу. Тут этого барахла сейчас, как блох на собаке. Ты эту железяку через фронт перетянешь. Она тебе заменит документы, какие надо показывать политрукам-особистам. За неё тебе орден прикрутят... – И спросил: – Может, у тебя, случаем, зеркало есть?

– Для чего мне ваше зеркало? – с удивлением спросил парень. – Я – девка какая?

– Жалко.

Мещеряк забросил в рот несколько ягод шиповника, снова принялся поправлять гимнастёрку, которая выбилась из-под ремня, пока рвал ягоды.

– А вот вы точно, как девка, – сказал боец. – Всё время прихорашиваетесь. Девки юбки всё время дёргивают, а вы гимнастёрку. – И ухмыльнулся насмешливо себе под нос. При этом лицо снова озарилось радостной улыбкой. – Может, у вас ещё и одеколон имеется?

– Адикалон? Это ты угадал, – смущённо ответил сержант, словно его застучали за непотребным занятием. После замечания бойца плечи у него безвольно опустились: он действительно стал напоминать невысокую, очень круглую, полную в талии женщину, одетую в военную форму. Только чёрная грубая щетина, битая сединой, выдавала мужика. – Если б был адикалон, то я б у тебя его на сухари выменял. Они из твоего мешка на всю степь пахнут.

– Зачем мне одеколон?

– Молодому адикалон завсегда нужный. Если б мне этот клятый адикалон, когда я таким безусым был, то и жизнь моя совсем по другой колее покатила бы. – Мещеряк выплюнул очередную порцию жвачки, улёгся на живот около пулемёта, подставив спину жаркому солнцу. Выдернул из земли серую травинку, принялся грызть, перекидывая из одного угла рта в другой. – На сладкий запах самые красивые мотылёчки-бабочки прилетают. До яркой бабочки руки сами тянутся. Капустниц рябых каждое лето кругом море. И никому до них дела нету. А прилетит какая цыганочка... Крылья – как тая бархатная юбка, переливаются... Глаз оторвать – сил никаких нету...

Мещеряк перевернулся на спину, подложил под голову ладони, согнул левую ногу в колене и как на подставку положил на неё правую. Безотчётный страх вдруг оставил его, точно вокруг не было никакой войны. И почудилось, что он лежит не в жаркой степи, а у себя во дворе, на далёкой Лукьяновке под старым раскидистым орехом...

– Я как про адикалон вспомню... – сержант закрыл глаза. – Так душа у меня точно горн в кузнице... Горит жаром. А этот самый адикалон, как тот дух, что из мехов... Жару додаёт... Стояли мы у восемнадцатом в одном местечке. Где-то около Житомира. И приглянулась мне девка ладная. Чернявая, кудряшки по всей голове. А глаза, як две сливы-венгерки, синим туманом помазанные. Батько её дёгтем торговал, а мы в его дворе коней батарейных держали. Я до неё из разных боков прилаживался. Даже серёжки обещал купить. А она мимо меня, да мимо меня. Точно меня совсем и нету. А командир мой над ней с первой атаки верх взял. Сапоги надраит хозяйским дёгтем, портупею вымажет канихволом, чтоб скрипела, как струна на скрипке, кресты нацепит... А они один об другой цокались, как колокольцы свадебные... Обязательно сверху себя адикалоном зальёт... Другой брандмейстер на пожаре воды меньше тратит... И до Цыльки в магазин...

Мещеряк загадочно замолчал. Выплюнул огрызок травинки, сорвав новую, отправил в рот. Смотрел в небо, словно пытался разглядеть за его белёсой пустотой давно потерянную любовь...

– Она с ним и сбежала, когда отступали... Будь у меня адикалон – пошла бы за меня...

– А разве в Красной армии кресты имеются? – озадаченно поинтересовался Бесфамильнов.

– Кресты? – переспросил задумчиво сержант. И, испугавшись, перевернулся на живот. – То я по привычке. Командир наш любил всякие цацки на грудях носить. Они звенели, что

церковные звоны на пасху. Он всякие значки называл крестами. «Георгиев надену, – говорил всегда, – и к Цыльке в пазуху руки греть!»

Он посмотрел на Бесфамильнова, смеясь, но смех вышел неуклюжим.

– А кто у вас командиром был? – спросил парень.

– Я теперь и не помню.

– Не помните командиров Красной армии? – возмущённо удивился Бесфамильнов.

– Какой-то Примаков... А потом – Фрунза.

Мещеряк встал и снова взялся поправлять гимнастёрку, но вовремя остановился.

«Тьху на твои сухари! – подумал он, косясь на красноармейца. Тот сидел на коленях у пулемёта и о чём-то сосредоточенно думал, глядя в землю. Губы его дергались нервно. – Из-за пустой утробы я тебе, цуцику, обязан про свою жизнь рассказывать... А до своих придём – ты к моим словам столько своих приляпаешь, что и пара волов не оторвут. Тогда и доказывай, кто крепче шкуру спускал из спины – Деникин в Житомире или Фрунза в Крыму...»

– В Житомире, – отрешённо произнёс Бесфамильнов, точно боролся с собственной неуверенностью. Он оставил пулемёт и весело глянул на сержанта. Но эта весёлость больно уколола Мещеряка.

– А у вас в детдоме девчата были? Или одни хлопцы?

– Зачем нам девки?

«То-то ты такой кусочий, как собака, что ни одной девки ещё не щупал», – подумал сержант и, принялся снова рвать ягоды. Набивая ими рот, осторожно спросил, глотая звуки:

– А вас всем детдомом отдали в энкэвэдэ?

Парень застыл в некотором замешательстве, уронив растерянный взгляд в песок. И после долгого молчания спросил:

– Почему, именно, в энкэвэдэ?

– Так простому пехотинцу или артиллеристу не доверят особое задание... До немца в тыл только сильно проверенных засылают... чтоб не остались...

– Кого в пехоту... В артиллерию. И только меня директор специально в райком водил. Там сразу и определили в Осназ политбойцом.

– И чего это за чин теперь будет? Краснофлотцев я знаю. И всяких других с разными рангами... Военврачей, скажем.

– Это для повышения стойкости и боеспособности бойцов Красной армии.

– А для какого дела вас направили?

– Мешать фашистам и помогать Красной армии. Скот и хлеб уничтожить.

– А разве какая немецкая тёлка танку препона?

– Наш скот, – пояснил Бесфамильнов. – Всех колхозных коров и лошадей, которые с Красной армией не отступили. А хлеба сколько осталось?.. И чтобы это всё фашистам?

– Эй, немчура, держи карман ширей! – Мещеряк засмеялся и, свернув кукиш, ткнул им в степь. – Люди давно коней и коров по дворам разобрали. Эта тварь божья не виновата, что её колхоз бросил, когда утекал. Ни конь, ни корова без человека не выживут, хоть и скотиной называются. В хозяйском хлеву войну перестоят и опять в колхоз вернуться.

– Именно этот скот и нужно уничтожить в первую голову! Директива специальная в колхозы была отправлена. Но не дошла. Вот мы её и обязаны выполнить. А те, кто этот скот и хлеб присвоили – автоматически становятся пособниками врага. Они будут кормить и поить этот скот, а, значит, помогать фашистам. Ждали, ждали фашиста! Дождались!? Не получится!

– Ты, как по писаному, точно мы не в степу прячемся, а на собрании сидим. Ну, взяла баба тую коровку или коника себе во двор... А вы за это спалите хлев? Мамке прокормить малых деток надо? Их там, – сержант указал рукой на запад, – ой-ой-ой сколько осталось. Они только-только из голодовки выкарабкались.

– Какая это ещё голодовка? – с недоумением спросил парень. Его глаза вспыхнули холодным огнём. – В газетах ни о какой голодовке не писали. Лично я про это не читал.

– От детки молока попьют, – стал объяснять Мещеряк, не обращая внимания на вопрос. Он продолжал рвать ягоды шиповника и набивать ими рот. – Быстрее вырастут. И будут добрые красноармейцы.

– По-вашему, выходит, что война на несколько лет?

– Если хорошо поглядеть – на года два, а то и три.

Бесфамильнов громко рассмеялся. И сквозь колючий смех сообщил:

– Да Красная армия уже наступает! Когда я в райкоме был – товарищ секретарь об этом объявил. Я сам слышал – фашистам завтра конец!

«Ой, как немец напугал всех в райкоме, если каждая тёлка – враг народа... Если какой человек губит после себя всё – значит, возвращаться не собирается», – подумал Мещеряк и, сплюнув жвачку, спросил:

– А тебе коров и коней не жалко?

– Нет.

– И откуда ты такой? Ещё молодой хлопец, а уже злой?.. На войне нельзя быть злым. Ни на своих, ни на чужих...

– На фашистов нельзя быть злым? Они вероломно...

– ...потому что злых первыми убивают. И если...

– А откуда фашисту знать – злой я на него или нет?..

– ...не немец в башке дырку сделает, так свой в спину стрельнёт. – Сержант глянул мельком на Бесфамильнова и, перехватив холодный настороженный взгляд, даже вздрогнул: – «Человек если злой, – промелькнула отчаянная мысль, – так он злой ко всем. Или то красный, или то белый, или, как немец – серый». – Снова сплюнул жвачку, и, бросив несколько красных ягод в рот, сказал, поглаживая большой мясистой ладонью себя по густой щетине: – Жалко, у тебя нету зеркала. Не люблю я, когда жнивье на морде. А особенно белое. – И вдруг засмеялся весело. – А некоторым девкам даже нравится... От, если б надыбать сейчас в степу хоть какой церабкоп⁴...

– А кто такой церабкоп?

– Центральный рабоче-крестьянский кооператив. У вас в Москве таких нету? Ну... – Мещеряк задумался на мгновение. – Вроде, как магазин, по-теперешнему. У меня тридцатка завалилась. Знакомая на мыло дала, чтоб я у старшины ротного купил. Так война помешала... Вот с чужими грошами иду... Я б себе зеркало сейчас взял и «беломору»... А тебе... адикалону.

Ефрейтор выплюнул жвачку, уселся на траву, взялся за портянку.

– Вы куда? – настороженно спросил Бесфамильнов.

– До ветру. Я на твоём первом сухаре уже сижу... И, значит, назначаю тебя в караул. Около этого куста у нас с тобой будет пост номер один.

– Вы что!?

Мещеряк недоуменно взглянул на бойца.

– Пост номер один только у Мавзолея. И каждый час там меняются часовые, – объяснил парень. Глаза его вспыхнули и с недоумённой обидой смотрели на сержанта, а руки нервно вздрагивали. И не найдя понимания своим чувствам, боец трепетно пояснил. – Нас каждый год водили смотреть.

– А в этом твоём специальном десанте, пост номер один был? – огрызнулся сержант.

– Кажется... был, – неуверенно ответил Бесфамильнов. – Где-то в штабе.

– Лучше, чтоб тот пост на кухне располагался. Поближе до повара.

⁴ Церабкоп – в простонародии. (От «Соврабкооп» – сеть магазинов Треста «Советский рабочий кооператив»).

– Как вы можете? Какого ещё повара? Это же Мавзолей!

Мещеряк поднял голову и увидел, что огонь в глазах парня остыл, руки безвольно опустились, а бледное лицо покрылось красными пятнами. И понял, что сказал глупость. Чтобы избавиться от неловкости, вскочил, отшвырнул в сторону портянку, надул щёки и на одном дыхании скомандовал:

– Боец Бесфамильнов, слушай мой приказ! Сейчас твой пост номер один около этого куста! – И громко выпустив воздух из груди, мягко добавил: – А, самое главное – тут никаких проверяющих нету. И до ветру можно, когда хочешь, сходить...

– Ну, и идите вы к вашему ветру! – ответил парень, точно отмахнулся от чужой настырности.

Мещеряк увидел, что Бесфамильнову было неприятно находиться рядом с ним. Смущённо пряча глаза, он тяжело, неуклюже, повернулся на коротких ногах и, переваливаясь по-утиному, пошёл в степь, осторожно ставя босые ступни в горячий, колючий песок. Сейчас он действительно был похож на уже немолодую расплывшую женщину.

«Зачем я тебя остановил? – подумал в сердцах Мещеряк. – Шёл бы ты со своей кашей куда-то подальше! Видали! Каждый год водят в мавзолей... как тёлка до бугая... Как у музей на голую бабу глядеть, которая на стенке в раме намалёванная. И кому-то грошей не жалко на трамвае всех возить! А раз ты такой правильный – сторожи!»

* * *

Бесфамильнов стоял на коленях у пулемёта, заправленного лентой, и, крепко вцепившись ладонями в деревянные ручки, сосредоточенно смотрел в степь. Большие пальцы уперлись в гашетку, готовые начать стрельбу.

Мещеряк, тяжело дыша, упал рядом с ним на колени и, подбросив крышку патронника, выдернул ленту из пулемёта.

– Собирайся быстро! – захрипел он шёпотом. – Не дай Бог, стрельнёшь сейчас – нам конец! Немец на мотоциклетах бежит!.. Там дорога... Большак. Надо было не спать, а по сторонам побегать... Оглядеться... А мы как раз около него и лежим... Немец по нему каждый день шапстает – песок сильно газолином смердит... Весь успел пропитаться... Собирайся быстренько... и пошли!

– Куда? – недовольно спросил красноармеец.

– В яр. Он тут недалёко. Метров сто. И Бог нас спасает. Если б мы ночью в ту яругу попали – дальше голову в руках нести пришлось бы.

– Уйти и немца пропустить!? – Бесфамильнов всем своим видом вдруг стал напоминать хищника, спрятавшегося в засаде. Даже из горла, как показалось Мещеряку, вырывалось чуть слышное рычание. А деловитость и неожиданная уверенность, говорили, что никуда он не собирается уходить. – Я думал, что вы специально сбежали до своего ветра. Ложитесь, будем пристреливаться

– Тебя видали? – Мещеряк принялся торопливо наматывать портянки, совершенно не слушая парня. – В яр бежать быстренько нада, пока нас не заметили. Им нас подстрелить – раз плюнуть. Хлопцы потому и бросили пулемёт, что возле самой дороги лежали. Думали, что вернутся. Но, видать, не вышло... Вещмешок не забывай и сухари... Они нам сгодятся...

Мещеряк встал на колени и словно сторожкий сурок поглядел в степь, вытягивая короткую шею.

– Слава Богу, их нету!.. Дорога где-то в ямку скатилась. Это хорошо. Если мы их не видим, то и они нас не углядят, – сказал он суетливо.

– Ну и пусть видят. У нас пулемёт. – Бесфамильнов деловито поднял крышку патронника, стал заправлять ленту.

– Да этот пулемёт для настоящего боя – никчёмная железяка... Их – не меньше, как тридцать мотоциклеток...

– Никчёмная!? Анка одним таким пулемётом офицерский полк разгромила. – Он резко поднялся и остался торчать колодезным журавлём, пристально всматриваясь в степь.

– Ты чего, хлопец? – Мещеряк ухватил бойца за штаны и повалил на песок.

– Нельзя уходить! Это же трусость! – крикнул боец. В голосе уже не было детской мягкости.

– Красноармеец Бесфамильнов! – сурово сказал Мещеряк. – Слушай мою команду! Ты не в детском доме. И я тебе – не нянька. Я – младший командир Красной армии, как старший по уставу.

В стороне, чуть наискосок, появились несколько мотоциклов. Они вылезли из низины и через минуту исчезли. Их сменили другие. Колонна длинной змеёй ползла по степи.

Парень встал на колени, прилип к пулемёту и стал моститься возле него словно квочка на гнездо.

– Красноармеец Бесфамильнов!

– Я предательских приказов не выполняю! – выкрикнул боец торопливо. – И не собираюсь! – Лёг, поднял прицельную планку и вцепился в рукоятки так, что ладони побагровели.

«Молодой, да ранний. Тебе приказывать бесполезно, – подумал Мещеряк, глядя с какой злой решительностью Бесфамильнов держался за пулемёт. – И я, конечно, не командир для тебя. Младший сержант... Бугор на ровном месте, и тот поболее начальник... И гимнастёрка у тебя командирская... А у меня важное дело впереди. Если бы не оно, я бы уже копался в хуторе у ладной бабы. И плевал бы на войну и на тебя. Только жалко такого хорошенького... Может, когда-то и люди из тебя будут».

Наматывая торопливо обмотки и настороженно озираясь, тихо сказал:

– Ты скумекай – кому нужна твоя смерть здесь? Их всё равно не остановишь. Ну если бы ты сейчас своё специальное задание выполнял... То понятно... Умри, а сделай... А если ты ни одного немца ещё не убил, так успеешь. Дурное дело не хитрое...

Но Бесфамильнов не ответил.

– Послушай, Шура, а у тебя баба когда-нибудь была или девчонка? – спросил Мещеряк.

– Были! Много! Ну и что? – огрызнулся парень.

– Дело молодое, – откашлялся сержант. – И я, когда таким молодым был, всем хвастал, что у меня их без счёту. Подрос... В голове – как осенью на баштане...росло. И одна завелась... А потом другая... Если будешь меня держаться, я тебе про девок много расскажу... И научу, чтоб в жизни об них меньше спотыкаться. Скажу сразу: девку возле себя держать – тяжкая наука. Это на войне один раз ошибся и – каюк. А с бабой ошибаться нельзя. До конца дней эта ошибка, как палка в колесе... Не поедешь и не побежишь. Только падаешь. Поднялся, поглядел – вроде, только лоб да колени расквасил. А, выходить – вся душа разбитая. Локоть, какое ребро – заживёт как на собаке. А душу ни одна мазь, даже из аптеки, не залечит.

Колонна вновь выползла на глаза, но уже всем своим удавчим телом, и ближе. Она медленно гнула петли, объезжая низины и стараясь держаться на возвышенностях. Серые мундиры ярко высвечивались лучами августовского солнца.

– В яр надо, пока не заметили, – вдруг зашептал Мещеряк. – Нас подстрелить – раз плюнуть.

– Они к линии фронта! – зло отрезал Бесфамильнов. – Их остановить надо! Здесь!.. Анка с пуле...

– Да пошёл ты со своей Анкой! – не выдержал Мещеряк. – Что ты мне свою безмозглую бабу суёшь!? Анька, Манька... Я на их наглядился в девятнадцатом... От, в командирских тачанках они руками за пулемёт крепко держались каждую ночь! – И перехватив недовольную ухмылку красноармейца, тихо и спокойно добавил: – Дай Бог, нашему теляти да волка

споймати... Что мы вдвоём против них? Обьедут и стрелять даже не будут. Не доведи, если в плен возьмут. Я уже у поляков в полоне был. В Здолбунове на одного пана денщиком год, как собака, работал. Так то поляки. Они нашего брата чуть понимают. Мамка – матка. Хлеб – хлеб. Молоко – млеко. А тут немец... Нам до своих надо, сынок. А мне очень надо... У меня, считай, тоже специальное задание...

Он взял в руки коробки с лентами и, поднявшись, приказал:

– Красноармеец Бесфамильнов, за мной, бегом!

– Нельзя их пропускать, – умоляя, сказал парень. Но, подчиняясь приказу, нехотя поднялся, взял в одну руку трехлинейку, в другую – вещмешок. – Они против Красной армии...

– А я думал – в баню париться, – раздражённо ответил Мещеряк и, озираясь, быстро засеменял короткими ногами. – Пригнись, и побежали. Нам до своих очень надо... Вдруг мать твоя объявится, искать тебя начнёт. А если мы с тобой до своих добежим скоро, так нам по ордену дадут... Тебе точно медаль дадут... Это я обещаю. Главное, чтобы ты мне помог до наших живым добраться... Я за тебя слово, где надо, замолвлю... А если чего со мной станется, перво-наперво у меня под...

Но Мещеряк не договорил...

Бесфамильнов коротким рывком выдернул из-под его руки коробку с лентой и, бросив на песок вещмешок и трёхлинейку, спотыкаясь, побежал назад к кусту.

– Ты куда! Стой! Александр Климентович!.. Убьют же!

Но парень не слышал. Длинные жеребьячи ноги, цепляясь за песок, делали огромные шаги.

– Думал... кругом одни дураки!? – выкрикивал парень нервно – Тебя плохо учили на шпиона!.. Только у вас там, буржуи «Чапаева» боятся смотреть! У нас все по десять раз ходили!.. Офицер у него нашёлся в штабе, денкинская сволочь! В эркака никаких офицеров не дозволяется! Под Житомиром кресты носить!

Бесфамильнов упал возле пулемёта, вложил ленту в патронник и схватился за ручки.

Звук от мотоциклов стал ревушим, и они приблизились к кусту шиповника, как показалось парню, на расстояние выстрела. Однако он, не спеша, развернул пулемёт в противоположную сторону и поймал в прорезь щитка спину сержанта.

– Непмановский церабкоп! Когда было это?! Когда ты сбежал с беляками к своим полякам! – ненавистно процедил сквозь плотно сжатые губы Бесфамильнов. Заметив, что сержант на какое-то мгновение остановился, он нажал нервно на гашетку. – Думал своими девками-мамками купить, пилсудчик! И фашистов немцами называть, гад!?

Мещеряк уже добегал до уреза яра. Он мельком оглянулся и

увидел, как дуло «Максима» мигнуло пламенем, а долетевший звук врезался в его грудь и живот. Он судорожно повернулся всем телом к кусту и, словно выпрашивая милостьню у парня, протянул вперёд кулаки, в которых были зажаты трехлинейка и вещмешок. И упал на траву ничком, подмяв себя коробку с патронами.

Бесфамильнов стремительно развернул пулемёт в степь, поймал в прорезь прицела головной мотоцикл и нажал на гашетку. Но «Максим» немо молчал. Парень выдернул ленту и, как учил его сержант, снова уложил патроны «близнятками». Хлопнул крышкой и надавил...

Пулемёт щёлкнул по-собачьи коротко и умолк...

* * *

Неожиданная стрельба в пустой степи остановила колонну. Гауптман, приставил к глазам бинокль, навёл его на краснеющее пятно шиповника, а затем указал взмахом руки в сторону куста. Из общей массы отделились четыре мотоцикла и, подобно загонщикам на охоте, полукругом стали наезжать на куст.

Красное пятно кустарника опять огрызнулось коротенькой очередью и умолкло.

Пожилой солдат-водитель на полном ходу развернул машину, чтобы пареньку, сидевшему в коляске, было удобней целиться. А тот прижался к прикладу крупнокалиберного пулемёта и послал сноп светящихся пуль к корням шиповника...

Когда они подъехали, то увидели красноармейца, который лежал, уткнувшись окровавленной головой в ручки «Максима».

Водитель указал на тело, лежавшее в стороне.

Пулемётчик вылез из коляски и пошёл к Мещеряку. Перевернул тело сапогом на спину. Увидел кусок красного шёлка, который выбивался из-под гимнастерки убитого. Достал нож, разрезал ремень и рубаху. Вокруг тела был обмотан большой кусок красной материи.

– Штандарт! – крикнул радостно солдат и поднял над головой полковое знамя.

2

Его разбудил глухой удар – форточку закрыл порыв ветра. Стекло в окне болезненно застонало. Новый удар, словно потревоженный первым, сорвался с настенных часов и наполнил высокимметаллическим звоном темноту комнаты.

«Колокола... Колокольная музыка, – машинально отметил он, улавливая исчезающее дребезжание стекла, вплетённое в звук часового камертона. – Колокола? Откуда сейчас колокола?»

Музыка ещё продолжала плавать в темноте, а он уже забыл о ней. Её вытеснила цепенящая мысль, скорее выбила неизвестно откуда обрушившимся ударом, уже третьим.

«Преспал! Кто поверит?! Не случайно! За дезертира примут...»

Последним усилием воли он попытался приподнять себя. Но тело, окаменевшее отяжелевшее, будто не выдержавшее этого последнего удара, развалилось на части. Пересиливая себя, он оторвал голову от подушки и, чтобы удержаться, попробовал упереться рукой о стену. Мимо толстых стёкол очков проплыли зелёные дыры циферблата.

Час ночи и уже три часа сна.

Он продолжал всматриваться в бездонную глубину цифр, словно желал заглянуть внутрь, чтобы осознать, что с ним происходит. Форточка снова ударила об оконную раму. Он рухнул на подушку. Кто-то невидимый ослабил его нервы, и в ту же минуту тело вновь соединилось в не имеющую размеров глыбу, налитую усталостью. Он провалился в бездну, из которой только что случайно выбрался.

«Ещё сумею выспаться... Как хорошо, что отпустили раньше».

Он уже три недели работал в трудармии на рытье окопов.

Ели и ночевали в только что вырытых рвах. А вчера для их бригады был выходной. На один день в Москву. Сняли на три часа раньше, почти развезли по домам.

Он радовался. Весь следующий день пилил дрова с матерью.

«Как хорошо, что отпустили раньше. – Тонул он в боли суставов. – Ещё бы разок...»

...Траншея рыжей лентой завертелась, огибая малые кусты.

Музыканты, сидевшие на дне, сбились в кучу.

Он потерял свою скрипку и оказался возле арфы, которая придавила его к липкой глиняной стенке. Пришлось подпереть её лопатой. Сейчас же появился дирижёр. В чёрном фраке, с белой манишкой, этот человек стал бегать мелкими шажками по свежей глине бруствера, наступая на головы оркестрантов и размахивая руками. Фрак схвачен португеей, на боку болтается кобура, а фалды то взлетают, то змеёй цепляются за ноги. Прыгнул с бруствера на дно, попытался вернуться, но повис над его головой. И крикнул:

«Арфа! Медленно лопатой! Почему бросаете на четыре четверти? Бросайте на две. У вас прекрасный слух, а вы точно оглохли. Слышите, что я вам говорю? Не хочу из-за вас под трибунал...»

Дирижёр схватился за кобуру и выхватил из нее кусок бильярдного кия, расставил широко руки, продолжая кричать: «Что вы альтистку ищите! Её нет здесь! Она на фронте. Да, да! На фронте. Вас бы туда отправить. Что вы выпячиваете ногу?! Жаль, что хромым не берут в армию, а то я бы вас в первую очередь, минуя все брони... Арфистка с усами! Вам бы юбку по вашей игре надеть... Эй, кларнет! Матвей Осич, почему неверно выдерживаете красную линию рва? Здесь на октаву выше. Здесь пулемётное гнездо будет!.. Эй, там!..»

Волосы у дирижёра поплыли вверх, будто он сам тонул в прозрачной воде, и стали сплетаться в одну длинную косу. Фрак надулся и медленно, как шар, гонимый ветром, заскользил вдоль рва над полированными языками лопат.

«Делайте, что хотите, только не будите до утра. Дайте поспать. Завтра на окопы снова, – сказал он и отмахнулся от болтавшихся над ним фалд. – Пошли вон!»

И точно желая скорее прогнать видение, он повернулся на живот и накрылся одеялом с головой.

Стукнула форточка, и, сговорившись с ней, ударили часы, но уже два раза. Все замерло, замолкло в темноте комнаты. Только с улицы доносились чуть слышные далёкие звуки, походившие на гул, точно перекликались перелетные птицы.

В раннем детстве ему нравился запах липового цвета. Он мечтал, что когда подрастет, то залезет на верхушку толстой старой липы, росшей в их узком грязном переулке, на последнюю ветку, где самый вкусный аромат, и долго будет сидеть там, пока не надышится вдоволь. А когда смог добраться до верхушки, непрерывно шатавшейся даже без ветра, то запаха не ощутил. Не успел. Сорвался и, ударяясь о толстые ветки то боком, то спиной, полетел вниз. Он хотел схватиться за спасительную жёлтоцветную ветку, попытался даже протянуть руки, но не смог, не хватило сил. Вместо этого, сам того не понимая, он сложил ладони лодочкой и начал повторять, словно молитву, бессмысленные слова: «Пальцы... Пальцы не поломать... Только пальцы»

Лежа на земле, утопая в боли, он почувствовал, что запаха липы уже нет, а вместо него вокруг звучит стремительная, кружащаяся вихрем, музыка.

Из больницы он вернулся хромоножкой.

В день его возвращения дворовые мальчишки играли в войну. Они оседлали палки и, вооружившись деревянными саблями, носились с гиканьем по переулку. Радуюсь своему выздоровлению, он тоже отыскал для себя длинную тонкую жердь и поскакал вместе с двуногой кавалерией. Но быстро устал и отстал. Когда понял, что не может угнаться, бросил своего коня под забор и поплёлся домой. К палкам с тех пор он чувствовал отвращение.

Долгие дни и вечера он не выходил во двор гулять, оставаясь сидеть с почти слепой восьмидесятилетней бабушкой. На вопросы матери отвечал только одно: «Там не интересно».

Осенью, когда с отцом ходили мимо лавок Тишинского рынка, он остановился возле одной и, указывая рукой на скрипку, сказал:

– Купи.

– Тебе зачем? Это ведь скрипка, а не игрушка. На ней не всяк играть мастак, – смеясь, ответил отец. – Ты малец ещё.

– Я умею, – уверенно сказал он.

– Чего захотел! Болтай меньше... Свистульку лучше купим. Петухом поёт, – бубнил отец себе под нос. – Скрипку... Если бы ты бессараб цыганский какой был...

У лотка, где продавали глиняные игрушки, отец долго стоял, соображая, что купить, и, узрев размалеванный наган, радостно воскликнул:

– Я тебе лучше «Маузер» куплю. Это вещь.

И радуясь своей покупке, отец отправился сразу же в лавку, где продавали на разлив хлебную, и долго толкался там.

Ожидая его, он стоял у входа, морщась от пивного запаха, и вертел игрушку. Но, не чувствуя к грубой глиняной безделушке даже малого интереса, случайно выронил её на кирпичные ступени. Собрал черепки и выбросил на кучу рыбных объедков. О скрипке с отцом он никогда больше не заговаривал.

Весной в дом поселили худого болезненно-коричневого еврея-часовщика с семьёй. Его жена, маленькая незаметная женщина, почти не выходила во двор, и соседи о ней ничего не знали. Зато их четырнадцатилетний сын Натан сразу прослыл музыкантом, потому что по вече-

рам ходил куда-то с чёрным футляром. Иногда в чужие окна прилетали нервные звуки, вырванные смычком из нежного нутра скрипки.

Он молча следил из своего полуподвального окна за двором и, увидев мелькнувшие ноги и футляр, выбегал и шел следом за Натаном до конца переулка. Оставался стоять там, ожидая возвращения соседского мальчика.

На уроки музыки Натан ходил важно. И тогда его глаза-жёлуди как-то по-особенному пялились по сторонам. Возвращаясь, только нырнув в переулок, этот толстый человечек сразу менялся. Было видно, что счастливо забывал о музыке. Подбегал к дощатому забору и, держа футляр, как обыкновенную палку, проезжался им по тесинам. Изгородь глухо охала от ударов, а Натан геройски шагал вдоль неё.

Он следил за Натаном. А рыжеволосый видел только забор.

Как-то, полосуя тесины, футляр открылся, и скрипка упала в грязь. Натан, испугавшись, смотрел на подзаборную жижу и не мог шелохнуться. Затем осторожно, чтобы не испачкать пальцы, поднял инструмент. Но чёрная жижа расплзлась по красным бокам. Парень повертел скрипку, соображая, как с ней поступить, и сунул назад в футляр.

Глядя на Натана и на скрипку, он нервно задрожал, как от болевого испуга. Снял с себя рубаху, стал вытирать ею инструмент. Рубаха почернела. Потом долго стирал её в бочке с водой, ходил в мокрой, ожидая, пока высохнет.

На следующий день, дождавшись возвращения Натана, попросил:

– Дай.

– На, неси.

– Нет. Чтоб играть.

– Чего захотел! Играть! Рупь гони – тогда играй.

Он растерянно посмотрел на Натана, не поняв, чего от него требуют, ибо денег никогда не имел. Но выдал:

– Завтра.

– Приходи за сарай. Я буду возвращаться... Лучше утром. – Натан важно надулся.

Он выпросил у бабушки серебряную монету на конфеты и отнёс Натану.

Ещё много бабушкиных рублей он обменял за сараем на уроки, которые Натан продавал походя, воровато озираясь и спеша.

– Ты тащи больше и играй скоко хош, – сказал рыжеволосый толстяк. – Я тебе за полтинник ноты нарисую... На бумаге.

– Не надо ноты... Без нот лучше. – Он замотал головой, хотел добавить: «У бабушки больше нет». – Но промолчал.

– Как хочешь. Больше не получишь скрипку.

Слепая бабушка, видевшая мир ушами, слушала игру Натана и говорила с завистью, глядя внука по шершавой голове:

– Умел бы ты так... Как бы славно-то...

– Я лучше могу, – бубнил он под нос. Очень хотел, чтобы бабушка услышала, как он играет. Но боялся признаться, куда девал деньги.

Бабушка в ответ только вздыхала тяжело и жмурила невидящие глаза.

В августе бабушка умерла.

Отец и дядья, отцовы братья, вынесли гроб во двор и в ожидании катафалка поставили на две табуретки. Мать всё время плакала и гладила старухе лоб, причитая. Высыпали соседи и молча ждали, пока покойницу увезут.

Он стоял у самого гроба и смотрел непонимающими глазами на белые волосы бабушки и удивлялся, почему они шевелятся и почему вдруг стали такими редкими.

Во двор вышел часовщик, толкая перед собой сына. У Натана в руках была скрипка. Они подошли к матери, и сосед сказал:

– Мадам, похороны – это всегда плохо, я понимаю. Особенно такой хогоший женщины, как ваший мамэ. Пусть мой Натан сыггаит. Похороны без музыка – газве ж можно? – И не дожидаясь ответа, ткнул локтем сына. – Слушай сюда! Иггай.

Скрипка залезла под пухлый подбородок, смычок стал медленно ползать то вверх, то вниз. Музыка выходила не плаксивая, не жалобная. Никакая. У Натана же лицо надулось злостью, и глаза молили только об одном: скорее бы увезли старуху.

Когда Натан заметил его, радостно задёргал рожими бровями, оторвал смычок от струн и, протянув инструмент, сказал, как спасителю:

– На... играй.

Скрипка в его руках вдруг стала большой, тяжелой и горячей. В первое мгновение он думал, что уронит ее. Но, закрыв глаза, чтобы избавиться от страха, храбро опустил смычок на струны. Сначала дважды проиграл ту же мелодию, что и Натан, но она показалась нехорошей для умершей бабушки. И тогда он стал играть другую, которая сейчас рождалась в нём. Он любил слепую старушку за доброту и участливость и очень жалел, что её больше не будет. Ему хотелось сказать ей об этом, и ещё о том, что без неё им всем будет плохо, потому что некому теперь утихомирить отца, когда тот будет пьян.

«Как я тебя люблю, моя бабуся», – играл он, перекладывая смычок со струны на струну, и ему казалось, что бабушка слышит музыку и даже видит, как он играет. И ей легче.

Он открыл глаза. Катафалк стоял у ворот, а два старика в серебрящихся ливреях, ожидая у гроба, тоже слушали. Ему показалось, что люди забыли о бабушке, и от этого стало больно. Часовщик, вытянув руки ладонями вперед, точно уперся во что-то невидимое, зашептал:

– Это же надо такое пгидумать. Это ж надо. Под такую музыку хоть сам ложись у ггоб, мадам. Какой позог, Натан! Какой позор! Это же надо такое придумать... Мишигенэ копф⁵, мадам...

Катафалк уехал, а скрипку забрали.

Через три дня, вечером, к ним в подвал пришёл часовщик. В руках он держал чёрный футляр.

– Вот я пгинёс скгипку, мадам. Ему десять лет, а как он иггаит, – начал сосед. – Ему она буйт больше нужна, мадам.

Сосед положил футляр на стол и, сцепив пальцы рук, попятился к двери.

– Мадам, я хочу вам сказать, – часовщик точно оправдывался. – Мой Натан... умгёт, как и я, пагшивым подмастегьем. Такая судьба. Я хотел, мадам, иделать из него человека... Так он... Мой сын... Он обокрал ваший мальчик... За сегебряный губель дать поиграть на скрипке... Обманывать десятилетний дети! Какой позог! – И открывая дверь, часовщик добавил: – Дай Бог, чтобы мои внуки меня похоронили так, как ваший сын ваший мамэ, мадам.

Скоро На тан и их семья съехали вовсе.

Мать отвела его учиться музыке.

Если бы не короткая нога, он мог бы сесть за рояль рилудно, мог бы давать сольные скрипичные концерты. Ему бы рукоплескали залы. Но он сидел в оркестре и одним глазом смотрел на дирижёра.

И всё-таки было здесь не так уж плохо. Пюпитры, дергающиеся нервно смычки, загадочный свет по вечерам, придающий лицам иногда смешное выражение, а чаще страшное.

⁵ Мишигенэ копф – буквально сумасшедшая голова (гений, дурак) (*идии*).

Сначала он видел всех, затем только нескольких оркестрантов, которые казались ему симпатичными, но потом всё внимание забрали два черных непослушных локона, падавших на лоб альтистки.

Часто он признавался себе, что бегаёт на репетиции, чтобы смотреть, как подрагивают эти две тонкие спирали...

Потом была квартира с красным абажуром, а потом война...

Он слышал, как мать тяжелыми шаркающими шагами прошла по комнате, и сквозь темноту почувствовала, что он спит, не сняв очки.

В этой маленькой комнатке ей ничего не было нужно, но она каждое утро приходила сюда с выработавшейся за годы потребностью что-нибудь сделать: поднять с пола съехавшее одеяло или, как сейчас, снять очки.

Левая щека придавила дужку. Мать дернула легонько за железку и, чувствуя, что толстые стекляшки приросли к лицу, надвинула их на нос, пальцем заправила тонкий прутик за ухо.

Он не прореагировал ни на шаркающие шаги, ни на заботу, потому что давно привык к этому. Утренний приход матери уже был необходим ему. Когда случалось, что она не появлялась в предутренней темноте, он начинал сквозь сон волноваться и настороженно ждать. И если не слышал знакомых звуков, то ёрзал, крутился на постели, нервничая. Но стоило зашуршать половицам – снова засыпал.

Когда он впервые ночевал не дома, лежа в чужой постели, услышав шаги, мягкие, стремительные, болезненно почувствовал, что мать стала удаляться от него. Ничего не объясняя женщине, оделся, помчался домой. Там, уже сидя на краю своего топчана, он ждал, что вот-вот мать подымится и пройдёт мимо, а он скажет ей, что больше не будет никогда ночевать у женщины. Но она не поднималась.

Он подошёл к двери, за которой спала мать, и стал слушать. Хриплое дыхание курильщицы звучало ровно, затем прервалось чирканьем спички. Через дверную щель долетел запах папиросного дыма, потом кашель, и всё стихло снова, превратившись в шипящий сон.

Циферблат высвечивал половину шестого утра.

Он стоял, несколько подавленный всем происходящим. Хотелось вернуться в теплую постель во втором этаже, к черному роялю, красному абажуру и мягким, сладким рукам женщины. Но вернуться боялся скорее не по причине, что близок был рассвет, а оттого, что не сумеет объяснить, почему сбежал...

Улегшись на свой топчан, он стал думать о ней. Захотелось, чтобы женщина пришла за ним сама. Сказала бы сразу что-нибудь обидное и снова обняла своей горячей мягкой рукой. Этим он ещё сильнее разбередил себя, решив, что не пойдёт на репетицию, скажется больным. Даже почувствовал, как тело стал охватывать жар...

Но скрипнули половицы, зашаркали знакомые шаги, рука дернула за очки, и мать снова удалилась. А магическая сила сразу окунула его в сон.

Когда проснулся, первым желанием было – скорее мчаться на репетицию. Он был уверен, что обязательно после вечернего концерта вернётся во второй этаж...

Всё это превратилось в домашнее суеверие. Если не приходил к утру домой, день его складывался неудачно. Он объяснил это женщине, и она перестала на него обижаться...

Сейчас материнские шаги предвещали только скорое утро, сырую глину траншей.

И он заснул коротким и спасительным сном, уверенный, что наступающий день будет хорошим.

...На пюпитрах белые косынки нотных листов. В оркестре неутомный шум. Ждут дирижёра... И больше не его самого, а зловещего свёртка под мышкой – пледа, которым тот обматывается, выгревая вдруг разыгравшийся радикулит. Свёрток – не доброе знамение, несущее

щее с собой злость, раздражительность дирижёра, гнев, разлетающийся по сторонам и застревающий в ушах и душах оркестрантов, от которого костенеют руки.

Боковая дверь провалилась в стену. Худой долговязый старик в короткополом мятом пиджаке стал пробираться сквозь оркестр, как через заросли, бормоча под нос приветствия.

Музыканты безгласно вздохнули, не увидев свёртка. Хоть какое-то, да облегчение. Последняя репетиция – сплошные нервы. Без пледа чуть-чуть полегче.

– Повторим!.. – воскликнул дирижёр. Он сбросил пиджак, остался в жилетке. Долго мостился на высоком стуле, отыскивая удобную позу, затем раскрыл папку, стал перелистывать страницы. – С девятой цифры! – И отвечая своим мыслям, возразил: – Нет... Нет! Лучше финал. Мне помнится... Вчера – без должного понимания. – Белые проволочные брови поползли вверх, освобождая путь зеленому взгляду, и с немым грохотом сорвались с гладкой полированной стены лба, заваливая глаза, точно буреломом. – Финал! – Короткая палочка скальпельно разрежала воздух.

Из бесцветной, бескровной раны брызнула музыка...

Он видел дирижёра, как тень, а всё время смотрел на альтистку и, замечая, как от волнения подрагивает её щека, спрашивал себя: «Как она сыграет?» Глаз её не видел, но по тому, как тяжело и напряженно держала голову и как сковано скользил смычок по бороздам струн, угадывал всё.

«Я теряюсь, – сказала она перед репетицией. – Когда ты не смотришь на меня, мне кажется, что я тебе не нужна».

«Будь спокойна. Думай только о главном. Не обращай внимания на меня. Я всегда с тобой».

«Не могу... Когда мы играли Грига, – зашептала она, заглядывая в стекла его очков. – В прошлом году... Помнишь? В Ленинграде... Ты совсем не хотел смотреть на меня... И я...»

Когда она не чувствовала его взгляда, начинала нервничать, делать почти неуловимые ошибки. Стоило ему углубиться, раствориться на мгновение в музыке, как дирижёр, уловив её сбой, останавливал оркестр и начинал выговаривать концертмейстеру и ей, превращая замечания в невыносимую пытку. Стараясь спасти её от гнева дирижёра, он почти не сводил с неё глаз. При этом сам всё делал машинально.

«Стоп! Стоп! Стоп-п-п!» – безмолвно кричало лицо старика. Палочка нервно забарабанила, отрезая по кускам музыкальную ткань.

– Первая! – крикнул ему дирижёр, продираясь зелёным взглядом сквозь бурелом бровей. – Я желал... Я просил больше чувства. Откуда такая скованность в оркестре? Пресно!

Снова взметнулась палочка.

Он попробовал сосредоточиться, отвел взгляд от альтистки и даже прислушался, выхватывая звук её альты из общего хора. Она вновь фальшивила. Он искоса глянул на старика, стараясь по гримасе на лице угадать – слышит ли тот эту фальшь.

Их взгляды встретились – старик все слышал.

– Стоп! – прозвучало, резко. Дирижёр прохрипел: – Если альты недотягивают – полбеда, но когда первая выделяет чёрт знает что!..

Дирижёру казалось, что он читает музыку единственно верно. Игра же первой скрипки, не пожелавшей подчиниться взмахам палочки, прозвучала непочтительной дерзостью.

– Вы нарушаете слаженность всего оркестра. О чём вы думаете? Как вы не вовремя сбились. Улавливайте мысль. Мы должны с вами быть как единое целое. Наши мысли должны быть одинаковыми, – последние слова руководитель говорил уже всему оркестру.

Старик сделал умышленную паузу и снова, закрывшись бровями, проскрипел:

– Повторим. Две цифры назад! Первая – не самовольничать. И...

Он был рад, что дирижёр, приняв его игру за фальшь, стал выговаривать ему, а не альтистке. Он даже улыбнулся...

Всплеск мелодии, и снова разрыв нити.

– Это же так просто! Неужели не понятно, что от вас требуется? – раздражённо зачастил дирижёр, снова улавливая отголосок неприемлемого для себя звучания.

Старик вдруг встал со стула, сделал шаг ему навстречу, наклонился, перегибая своё костлявое тело, и, обнажив белый частокор зубков, проговорил:

– Это же любовь. Страстная любовь... Вы понимаете, что такое любовь? Первое трепетное чувство...

Их лица были так близко друг от друга, что на лице дирижёра он хорошо различил мелкие коричневые точки. Синяки под глазами так набухли и налились, что, казалось, вот-вот лопнут.

«Мне жаль тебя, бедный старик». – Он решил, что не станет ничего делать по-своему:

– Я постараюсь. – Согласно кивнул. – Я попробую.

И не дожидаясь, пока дирижёр сядет на место, без приглашения, один, без оркестра стал играть пассаж. Но душа, скованная мыслью об альтистке отдавала лишь то, что чувствовал и требовал старик.

– Наконец-то! Теперь все вместе. Последний раз... Затем от начала до конца.

Он оделся в темноте, как всегда нашёл на столе завернутые в газету два куска хлеба, переложенные ломтиком старого сала. Сунув свёрток в карман, вышел в тёмный холодный двор.

Калитка захлопнулась боязливо, под ногами зашуршал шлак. Осень была сухая. Чёрно-синие камешки не тонули в жёлтойлипкой грязи.

Он слышал свои шаги и механически вытягивал в сторону руку, чуть кончиками пальцев касаться шершавых тесин забора. В темноте он обогнул толстую липу, наступив на выпирающие из земли жилы корней. Шёл как маленький тролль, спешащий до света укрыться в темноту. Только вместо колпака на нём большая, падающая на очки шапка, чёрный ватник, промокающие сапоги. Воздух из ноздрей грел верхнюю губу, и казалось, что он видит белый пар своего прерывистого дыхания.

Послышался шипящий звук – кто-то шёл впереди по переулку, подминая ногами шлак.

«Это кто-то из наших... – подумал он. – А то кому ещё в такую рань?»

Осторожно ступал на шипящий шлак переулка, чтобы не потревожить спасительной тишины ночи, которая обволокла весь город, прикрыв своей необъятностью улицы, дома, людей, и ожила, превратившись в святое всеильное существо.

Впереди тёмная фигура тянула колясочку. Увидев его, она вдруг перевернула груз, который везла, свалив в неглубокий кювет, и бросилась наутёк.

Подошёл к тому месту, где выбросили груз. Это были книги. Поднял машинально две, вставил за отворот пальто и пошёл дальше.

Каблуки стукнули по булыжнику. Он замедлил шаг. Там, впереди, совсем рядом был дом. Во втором этаже за окнами, которые смотрят на улицу, когда-то горел красный абажур, а совсем недавно – стеариновые свечи. Нет, два огарка – один на чёрном рояле, другой – у кровати. В моргающем свете со стен смотрели молодые и старые лица с портретов и фотографий в толстых красноватых рамках. И когда рояль звучал, они оживали. Улыбались музыке Моцарта, хмурились и становились серьезными, когда звучал Бетховен. В доме этом он не был целую вечность. В следующий выходной он придет сюда, где его ждут.

Он остановился и сквозь темноту ощутил, что находится у самого дома, как раз под окнами. Он стоял с поднятой головой и смотрел...

– Когда мне было восемнадцать, – заговорила она, высунув голову из-под одеяла, – нет, семнадцать... А, может, раньше... Я уже не помню... Я придумала себе, что ко мне на улице обязательно подойдёт какой-нибудь мужчина и скажет: «Я стеснялся до сих пор, а вот теперь решился...» Я, конечно же, его прогоню...

– А если бы это был я? – спросил он. – Тебя я прогнать не смогла бы...

– Я сыграю... – Он набросил рубашку и сел к роялю. – Шопена.

Свечи медленно шевелили языками пламени.

Его тень то качалась из стороны в сторону, то разрасталась вширь, заполняя все пространство вокруг, словно она – самоё музыка.

Сумеет ли он сыграть Шопена так, как играл тогда, во второе их свидание? Болезненное восприятие музыки давало ей возможность очень точно, до мелочей угадывать состояние души исполнителя. Она слышала многих. В концертах музыка у всех выходила взволнованной. Но это было не вдохновение, которым жил Шопен, а волнение музыкантов, разделивших душу между музыкой и публикой. Только очень старые пианисты, давно потерявшие трепет перед залом, приближались в своём прочтении к тому, что чувствовала и переживала душа, сочиняющая музыку. Стариков выручал опыт, но угасшая или угасающая страсть клином втискивалась между ними и музыкой и не позволяла дотянуться до вершины звучания, хотя они и были очень близки к этому.

Ждала, чувствуя, что настанет миг, когда она услышит самого Шопена. Она была уверена, что человек, душа которого не переполнена страстью и любовью, не может исполнить Шопена так, как это слышала она.

Он играл Чайковского, Листа.

Сейчас она была ему благодарна.

Присев на кровати так, чтобы видеть себя в зеркале, она принялась как бы тайком разглядывать свое отражение. Лицо, закрытое вуалью тени, исчезло, а тело глянцево блестело. Хотелось увидеть себя такой, какой видел её он. Она медленно поворачивалась на постели, подставляя загадочному свету свечей плечи и грудь, хватала их отражение в зеркале...

«Мне с тобой хорошо... – Она смотрела на него. – Не было Шопена... Был только ты!»

Вспомнила, что у неё когда-то было ужетакое состояние, как сейчас, радостное и бесконечно долгое.

Рояль наполнил комнату звуками, которые не были похожи на обман.

«Что бы я без него делала? Как жила? – думала она. – А если бы он родился через сто лет... Нет! Не мог! Только для меня он в этом мире».

Ступила босыми ногами на пол, подошла к зеркалу и прижалась к стеклу. Холод обжёг.

Только тут заметила, что в комнате стало тихо. Он сидел, отвернувшись от рояля, и смотрел на нее.

– Мне... Так... – Женщина закрыла лицо руками. – Но не могу иначе... Я никогда не была счастлива... И только сейчас...

Он повернулся к роялю и снова стал играть Шопена.

Она сорвалась с места, прижалась к его спине.

– Ты самый счастливый человек...

«Есть ли там кто-нибудь? – думал он, стараясь раздвинуть мысленно тёмноту. – Может, и её мобилизовали в трудовую армию?.. Может, санитаркой, медсестрой, поварихой. Сколько женщин у нас на окопах. А, может, её уже нет?! – страшная мысль хлестнула холодной волной. – Вчера бомбили... Надо позвонить... – Он лихорадочно стал шарить по карманам, надеясь найти гривенник, которого, знал, не было. – Возьму у кого из наших. Пока будем грузиться в машины – я успею».

Эта счастливая мысль оторвала его ноги от мостовой и помчала по крутому спуску на площадь.

Опоздать на Трубную площадь – упаси Бог!

Восхода не было...

Просто серый свет долго стоял на месте, за домами, точно проверяя, нужен ли он здесь, затем чуть навалился вперёд и застыл полупрозрачным желе, считая, что и этого будет достаточно, чтобы в полутьме были видны чёрные ватники и длиннополые пальто.

Он разыскал своих окопников. Они стояли в самой гуще людей. Переговаривались.

– Как дома? – спросил его немолодой, но ещё крепкий на вид человек. – Что-нибудь новое слышал?

– Я дрова пилил весь день, дядя Коля, – ответил он. – Машины скоро, как вы думаете?

– Тебе куда-то бежать надобно?

– Позвонить. У кого гривенник найдётся? Очень надо. Я вчера не успел.

– Гривенник я тебе дам. – Дядя Коля пошарил в кармане ватника и протянул ему монету. Только где ты телефон сейчас раздобудешь?

– В магазине, – не понимая вопроса, ответил он. – В магазине на углу бульвара.

– Закрит твой магазин.

– А на Петровке?

– Это далеко. Сейчас машины подадут. А тебя нет. Завяжи-ка лучше мне палец. Я вчера на кухне управлялся. Задел неосторожно. И Дмитрий Савелич задерживается, Тяжко ему без жены. Хоть бы она умерла не в такое глупое время... А книги ты зачем взял?

– Я на улице нашёл. Кто-то выбросил в канаву.

Он глянул на обложку одной и растерянно посмотрел на дядю Колю.

– Чего? – спросил дядя Коля. Взял книги и, глянув на обложки, испуганно завертел головой по сторонам. – Только не говори, что нашёл в канаве. – И тихо шепнул: – Если выбрасывают Сталина и Ленина... Значит – хана...

Его перебил грубый окрик, пролетевший над толпой.

– Становись!

К ним подошёл толстяк, укутанный женской шалью.

– В последнюю минуту выскочил. Трамвай ждать не стал. Прямо... забыл, что идти надо. Заработался. Всю ночь и вчерашний день писал. С удовольствием устал. В следующий выходной допишу последнюю главу...

– А вы что пишете? – спросил дядя Коля, отыскивая взглядом место, куда бы спрятать книги. – Запоматова, простите...

– Историю покорения сибирских народов... Осталось несколько страниц о Муравьёве-Амурском...

– Повзводно, поротно!.. Становись! – разлетелся над площадью приказ.

– Вот и наш капитан объявился, – сказал дядя Коля. Он куда-то отошёл и тут же вернулся, но уже без книг. – А ты звонить побежал бы.

Казавшееся бесформенным большое скопление людей тихо и быстро построилось в шеренги, образовав длинную, в четыре ряда, колонну. Перед строем вышел капитан, короткий, схваченный в талии широким ремнём. Долго молчал, переминаясь с ноги на ногу, а затем тихо произнёс:

– Немец пошёл в наступление.

Капитан всегда говорил много и долго. А сейчас его короткие рубленые слова эхом повисли над площадью. И люди вдруг почувствовали, что этот человек со шпалой в малиновой петлице говорит о неотвратимой беде и говорит правду.

«Кто дал ему власть говорить так?» – подумал он и даже съежился, будто пронизанный неожиданным холодом.

– Равняйся! – уже твердо скомандовал капитан. – Напра...во! Первая, вторая, третья роты – прямо. Остальным – прямо и налево в переулок! Шагом...

Ряды зашатались и, пытаясь чеканить нестройные шаги, двинулись по бульвару.

Когда колонна пересекла Садовое кольцо, к нему подошел капитан и спросил:

– Ты, кажись, из филармонии? Запевать можешь?

– Я не... – испуганно возразил он, болезненно почувствовав, как всё будут смеяться, услышав его слабый голос. – Я в оркестре... играю. Могу на рояле...

– Жаль. Очень надо бы сейчас, брат.

– А машины когда будут?

– Вот как раз, пока машин-то нет, песню бы. – Капитан быстро зашагал, пытаясь догнать голову колонны.

Долго шли молча, но затем оживились, и сама колонна разбухла, расплзлась в стороны, вытянулась. Обгонявшие машины злобно сигналили и, рыча, объезжали учающиеся шеренги, заползая на тротуар.

Его соседи вполголоса разговаривали. Толстяк, укутанный пуховой шалью, непрерывно жестикулировал и толкал то его, то дядю Колю.

– Интересно, мы будем там же работать, где и позавчера, или на новом месте? – спросил толстяк.

– На новом, – авторитетно ответил дядя Коля. – И где-то близко, раз машин не дают. Пёши далеко не протянешь.

– Да, верно ведь... А десять дней назад Орёл сдали. А у меня там сестра, знаете ли... с малолетними внучатами...

– Послушайте, Дмитрий Савелич, вы же Вебер! – словно спохватившись, произнёс дядя Коля.

– А почему, собственно говоря, вас это удивляет?

– Выходит, вы – немец.

– Выходит... немец против немца?

– Как вроде... – смущённо сказал дядя Коля.

– В Россию моего прадеда привезли в утробе матери. Я уже десятый Вебер, а отец мой кочегаром был на «Варяге»...

– Мой сын... – дядя Коля неловко запнулся. – Сказал... что вчера приказ был... всех немцев выселять... Он по квартирам ходил.

– Наверное, и ко мне приходили. Но я у товарища ночевал. Взял рукопись и к нему... Дома одному неуютно. А считать меня немцем – абсурд. Пушкин тогда вовсе не русский, а эфиоп. И дело не в национальности. – Вебер долго рылся в кармане брюк. Вытащил носовой платок и громко высморкался. – Гёте и Шиллер – немцы... Но я иду воевать не против них...

О чем говорили соседи дальше, он не слышал. Стал ловить ритм шагов колонны, и в голове начала рождаться мелодия, пронизанная огнём, мощная, как гром. Музыка становилась всё сильнее и зримей. Поглощённый сладостным, завораживающим потоком звуков, он так увлекся, что не заметил, как отстал.

– Подравняться!

Он словно проснулся. Огляделся по сторонам и, обрадованный тем, что никто не видит его, запрыгал догонять колонну.

– А ещё один мой приятель в ополчении, – тихо говорил Вебер. – Мы в военкомат ходили. Его взяли. А меня вот... Что будет, если Москву возьмут?..

– Выбросьте вы, наконец, эти мысли из головы! – возразило отрывисто чей-то голос. – Это где такое видано, чтоб Москву сдавать?

– Повторение – мать учения... – заметил Вебер.
– Это когда!? – угрожающе спросил голос.
– Ведь не даром Мрсква... французу отдана...
– Вот одно плохо – отступаем, – перебил перепалку дядя Коля. – И главное – почему?
– Это вечный вопрос для России. Кто-то из немцев, не то Бисмарк, не то Вильгельм, сказал, что мы, русские, медленно запрягаем, но зато быстро ездим. Или что-то в этом роде. Точно не помню. Так надо же всю страну запрячь. – Вебер сжал кулак и дёрнул видимую ему одному вожжу.

– У меня чувство неуверенности родилось уже в тот момент, когда товарищ Молотов подписывал пакт⁶... Какой-то он слишком выгодный был... И всё хорошо. Чего-то он нам сулил, иначе мы бы его не подписывали. Да вот не вышло.

– Что теперь судить. И вообще лучше об этом... – Вебер метнул настороженные взгляды по сторонам.

– Да, но кто-то же должен нести ответственность, – прошипел осторожно дядя Коля. – Хоть моральную. Ну, хоть какую...

– Разберёмся после войны...

Путь колонне пересекла другая – красноармейцы на лошадях тянули пушки.

Желая получше разглядеть, что делается впереди, он выскочил на тротуар и увидел перед собой сберкассу.

«Можно позвонить! – обрадовал он себя. – Там обязательно есть телефон».

Взбежал по ступенькам, резко толкнул дверь и зачем-то сказал в пустоту почти тёмной комнатки:

– Я только позвоню.

Ему никто не ответил.

Монета утонула в стальном ящике, а в трубке послышалось свистящее хрипение.

Он бросил трубку на рычаг, окунул голову в маленькое окошко в стене. Там, за решёткой, сидела девушка в зимнем пальто и сером пуховом платке.

– Денег не выдаём, – сказала она, заученно не обращая внимания на посетителя... – Мне... По гривеннику... Позвонить. – Он протянул червонец.

Круглое лицо посмотрело недоумевающим взглядом.

– По рублю могу. А иначе – никак.

– Гривенник! – Бумажка нервно дрожала в его руке, и он чуть ли не до плеч пролез в окошко.

– Сейчас гривенники? С Луны свалились?

– Я вас не понимаю... Мне нужно позвонить. Пока мы стоим. Мне очень надо. – Он стал ещё сильнее волноваться. – Гривенник... Ну, это десять копеек... По... по... нимаєте... з-з... вонить.

– Нет их уже давно. Как война началась – пропали. Сразу. Меди могу насыпать.

– Но... Как пропали?

– Все монеты, которые белые... Думают, что в них есть серебро... Вот и прячут. Война. А там кто знает, что будет.

– Да? – Он бросил испуганный взгляд за окно в стене на колонну. – Как же так? – И растерянно спросил: – А как быть?

– Ой, я вас знаю, – уже лицо девушки появилось в окошке. – Вы... Я вас хорошо знаю... Это вы тогда... Я в третьем ряду сидела... На концерте. Меня тётя с собой взяла. Она в театре... Артистка. Вы – первая!

⁶ Пакт Молотова-Риббентропа – сговор правительств СССР и Германии, положивший начало Второй мировой войне.

...Первое отделение прошло спокойно. Исполняли старое, хорошо заученное. Дирижёр на ошибки реагировал лишь взмахами бровей.

В антракте старик подошёл к нему и, ухватившись длинными костями пальцев за локоть, просительно прошептал:

– Смотрите внимательно на руку. Ритм... Ритм... Всё сейчас зависит от вас...

Говорил медленно, будто хотел, чтобы каждое слово въелось, прилипло... и на всю жизнь. А голос звучал непривычно заискивающе. От этого был ещё более неприятным.

«Что с ним? Старик такого никогда не позволял себе. Почему упрасивает, умоляет? Должен требовать...»

Он вдруг почувствовал, как по телу покатилась горячая волна. Лицо запылало, а руки нервно задрожали.

«Почему я раньше не догадался? Как это могло случиться!?»

Захотелось освободиться от пальцев дирижёра и подойти к альтистке, но старик не отпустил, все говорил, говорил... Его остановил только звонок.

Глядя на костлявую спину уходящего дирижёра, направляясь в оркестр, он, подхватил её локоть и тихонько прошептал:

– Что-то происходит со мной. Но ты не реагируй. Считай, что я... я смотрю на тебя.

– Я боюсь, – испуганно ответила она, глядя в его отрешенные глаза.

Палочка вспугнула звуки, и они, как птицы, полетели в зал. Мгновение его скрипка заученно следовала за дирижёром, а он выхватывал из общего хора звук её альты. Скованное напряжением лицо дирижёра ясно и чётко выдавало мысли: господи, лишь бы не сорвалось. А глаза просили, умоляли.

«Задумал ты недоброе, – вдруг с ужасом подумал он, прочитав мысли дирижёра и словно прозрев. – Не догадался я раньше. Мне было не до тебя. Здесь не так надо играть. Сейчас – это ложь!»

Его мысль побежала быстро вперед по музыкальному тексту, как бы пытаясь увидеть то, что было скрыто, и, ещё не достигнув конца, вернулась, убедив его в собственной правоте.

«Но зачем? Ведь этого нет! Нет здесь никакой радости и фальшивого счастья. Здесь буря! Тревога! Человеческие муки!»

Он взглянул мельком на дирижёра, желая увидеть на его лице хоть намёк на то, что сам увидел и почувствовал. Но лицо, суровое, властное, только требовало, чтобы никто из музыкантов не осмелился ослушаться, уйти в сторону.

Ещё раз он прислушался к звуку альты, бросил взгляд на альтистку и, подчиняясь не себе, а высшей воле, окунулся в новую музыку. Он слышал рев безудержной стихии и смерти, которые готовы были разлиться во всю ширь, разрушить все. Поток подхватил его и, ускоряя бег, понёс... Волна подбрасывала на вершину гребня, откуда он видел вокруг светлое, залитое солнцем пространство. Это был лишь миг. Затем разверзлась пучина, бросая его в бездонную пропасть. И чем дольше он падал, тем ярче пылали на оранжево-зелёном небе чёрные звёзды, дышавшие потусторонним огнём. Но неведомая сила подхватывала его у самого дна и, в то время, когда над ним должны были сомкнуться волны, стремительно выносила на самый верх, к солнцу...

Он возвратил себе сознание. Вокруг звучала знакомая музыка, но не та, которую репетировали.

«Что с ней?» – испуганно прислушался он.

Альт пел песню стройно, весело и ровно.

Он окинул глазами оркестр. Восковая тусклость лиц исчезла, а нотные листы вот-вот вспыхнут от пламени глаз.

Лицо дирижёра ещё больше вытянулось, брови точно поредели, чёрные зрачки, огромные, боязливые, источали страх. Руки напоминали сухие ветки. Не имея сил остановить безум-

ную и неподвластную стихию, старик старался угнаться за нею, будто она уносила его душу, оставив ему ненужное дряхлое тело. Мечи взглядов схлестнулись. Старик зло молил о пощаде.

В этот непрошенный короткий миг реальности увидел, что не дирижёр управляет оркестром, а он. Но тут же ощутил, как музыкантами снова овладевает дирижёрская воля. И не давая развиваться ей, утонул в своей музыке, увлекая за собой оркестр...

Зал молчал. Сколько времени? Бесконечно... Но дальний, сначала робкий удар ладоней разорвал тишину, и уже гул, неистовствуя, летел в оркестр, раскрывая окна и двери..

Дирижёр кланялся.

«Что вы наделали!» – восхищённо пробасил Матвей Осипович.

«Я иначе не мог».

«Вас уволят!.. Мы сразу поедem ко мне. Втроем. Я всё расскажу жене».

– Во сне или наяву? – прошептал, чуть шевеля губами. Он не мог осознать своего состояния.

Сладкий обман сна.

– Куда вы сейчас? – спросила девушка в кассовое окошко, пытаясь изогнуть головой сталь решётки.

– Окопы роem, – отмахнулся он. – Телефон... А монет нет! Понимаете, мне надо позвонить.

– В кассе нет, но я вам дам свои. В кассе нет белых монет. Их все по карманам рассовали. Считают – в них серебро... Я до сих пор вспоминаю концерт... Вот... возьмите. – Её лицо зарделось от смущения. – Наверное, теперь всегда будут играть так. Правда?.. – Из ладони в ладонь упали несколько монет.

– Дайте мне сдачу. – Он просунул в окошко червонец.

– Нет, не надо... Звоните...

Он подлетел к аппарату, положил гривенник в отверстие монетного рычага и опустил её в гулкое пустое нутро.

На противоположном конце молчали.

Слушая гудки, он шептал себе беспрерывно: «Сейчас подойдёт... Сейчас... Из коридора не слышно – дверь закрыта плотно. Занята. – Глаза ловили за окном спины товарищей. – Ещё немножко... Сейчас подойдёт...»

Колонна качнулась и исчезла из маленького, перехваченного газетным крестом, оконца.

– Деньги забыли! – закричала вслед девушка, протягивая червонец. – Возьмите!

– Да, да. А вы, правда, были на концерте? Очень страшно всё?

– Сначала боялась. Думала, остановится оркестр, а потом... Бегите!

– Я вернусь и принесу деньги. Только никуда отсюда не уходите... Я верну.

Улицу стали заполнять люди. Их становилось все больше, и скоро уже две колонны двигались навстречу друг другу. Эта, вторая, несла и везла домашний скарб, вела детей, сама молчаливая и не глядящая по сторонам.

– Вы откуда? – спросил он у шедшего мимо человека.

Ему не ответили.

– Вы откуда?

– Отсюда. – Молодая женщина с ребёнком на руках показала на соседний дом.

– Куда?

– Пока по Владимирке – ответил уже другой торопливый голос. – А там видно будет.

– Куда успеem дойти, – добавил кто-то.

Среди толпы вдруг выросли две «полуторки», на кузовах которых громоздилась мебель. У одной через задний борт свисал ствол пальмы с игламилистьями. Машины пытались бесцеремонно расталкивать людей, пронзительно сигнали. Но толпа не реагировала. И казалось, автомашины вот-вот сойдут с ума от собственного истерического воя.

Колонну догнали «полуторки».

– На машины, поротно!

Ехали очень медленно и долго, всё время пропуская вперед по дороге то гусеничные тягачи с гаубицами на прицепе, то такие же «полуторки», гружённые доверху ящиками. К вечеру их обогнал даже кавалерийский полк, тянувшийся легкой рысью, длинный, как разноцветный бесконечный шарф.

Остановились у маленькой деревеньки, когда совсем стемнело. Вдали угадывались силуэты изб. В деревню въезжать не стали – выгрузились на дороге у края поля.

– Командиры рот, ко мне! – скомандовал капитан. – Остальные – вольно!

Всё вокруг таилось пустотой. Только несколько деревьев, голых, худоватых, сгрудились вдали и взволнованно гудели, будто готовившаяся в полёт стая больших птиц.

Откуда-то из поля, из-под земли возникли люди. Они окружили капитана, и один, должно быть самый главный, непрерывно указывал то на прибывшую братию, то на поле и деревню.

Капитанский голос вновь построил колонну.

– Товарищи трудармейцы! – звучало твёрдо, без торопливости и нервозности. – В пяти километрах от нас вторая линия нашей обороны. Может так случиться, что уже завтра передовая переместится сюда. Чем быстрее мы сделаем для наших бойцов окопы, тем... Задержать врага! Задержать на неделю, на день, на час. Это, товарищи, означает, что столицу мы сдать не можем. – Капитан сделал паузу, облегчённо вздохнул и мягким голосом деловито добавил: – Здесь со мной ваши новые командиры рот и взводов. Они объяснят задачи. Инструмент получите на месте... Товарищи командиры, разойтись по подразделениям.

Крепко заволкло темнотой. Пара изо рта не было видно. Лица не узнавались, а только угадывались тени.

– Шестой где? – прогудела такая тень, подходя к их взводу.

– Тут.

– Рыбаков кто будет?

– Я – Рыбаков! – отозвался хриплый скрипящий голос справа.

– Начнём, стало быть, знакомиться. Фамилия у меня – старший сержант Чуев. По батюшке, как водится на Руси, Трифоном Сидорычем кличут. Годков мне чуток за сорок, а стало быть, имею жену и при ней пятерых девок, не шуми тайга... Кто помоложе и живой в войне останется, прошу не стесняться и к моим девкам сватов засылать... Вот, тебе сколько? – Чуев ткнул пальцем в ближнюю темноту, откуда слышалось частое дыхание и кашель.

– Пятьдесят два...

– Не обижайся, отец, не шуми тайга. Темно, не видать... И чуток ещё меня послушайте. – Он говорил вовсе не по-военному до этого, и теперь, когда попытался изменить тон на приказный. Вышло плохо. – Коль я у вас командиром назначенный, граждане бойцы, значит, над теми, кто у Рыбакова записан, хочу предупредить: без моей команды ничего не самовольничать.

– Товарищ Чуев? – спросил Рыбаков, пользуясь своим ещё недавним старшинством. – Люди не ели.

– Товарищ старший сержант... – как-то между прочим уточнил Чуев. – Утром дадут. А сейчас потерпим чуток. У меня с рассвета маковой росинки во рту не было. У кого ещё вопросы?.. Значит, шагом марш за мной, не шуми тайга. Ночь короткая, а война длинная. Ночуем в траншее... По-солдатски.

Пахло сырой промёрзшей глиной. Морозило.

Он нащупал углубление в стенке – должно, отрытое пулеметное гнездо – и провалился в него, сжался, пытаясь согреться.

По траншее ходили, натываясь, обменивались грубыми окриками, натываясь на кого-то. Но скоро все уgomонились.

Он почувствовал, что кто-то пробует втиснуться к нему в нишу, машинально съежился. Стало тесно, но зато тепло. Человек тяжело дышал махорочным духом и, вдыхая, раздавался вширь, сдавливая соседа.

– Бумажки покурить не найдется?

Он узнал голос Чуева.

– Нейду... А карандаш у вас есть?

– Это всегда. Как же строителю, плотнику, без карандаша. А тебе зачем?

– Записать. Чтобы не забыть.

– Как в потьме писать-то? – искренно удивился Чуев. – Курить... куришь? Я сейчас огонька высеку, тогда и запишешь.

– Я и в темноте могу. Мне чуть-чуть.

– А тебе сколько годков? Поди, не много.

– Двадцать шесть.

– Я чувю, что молодой. Щуплый ещё. Ничего, за войну нагуляешь. После приезжай к моим девкам свататься. У меня их пять. Выбирай любую. – Чувствовалось, что старший сержант болезненно переживает, что родил только дочерей. – А ты кто будешь?

– Музыкант.

– На гармошке можешь? Или на баяне? – Чуев щёлкнул зажигалкой и в мгновение прикурил.

– Могу и на баяне.

– Эх, тебя бы ко мне в деревню этой весной. Сватал мою Настасью, старшую девку, значит, один городской. Он из наших, деревенских, только в Калачинск съехал. Там сначала на землемера учился, а потом бухгалтером на фабрике пристроился. Так такая досада... Вот веришь, на всю деревню ни одного гармониста. Одного в больницу повезли, его жеребец копытом тюкнул, а другой, как назло, неделю пьяный валялся. А какая у пьяного музыка – больше наливай. И вся игра.

– Вы бы патефон завели.

– Кого?

– Патефон или граммофон. Пластинки.

– Это ты в Москве можешь патефоны заводить, а у нас на Иртыше чуток только керосин привезут – вот и праздник... А патефоны к нам не возят.

Чуев, как показалось, даже обиделся, потому что замолчал, заерзал на месте, передвинул зачем-то свою винтовку. Когда устроился, спросил:

– Ты на балалайке можешь?

– Никогда не играл.

– У-у-у. Какой же ты тогда музыкант! Вот мы в Казани двое суток стояли. Так там на вокзале слепой сидел. В картуз не бросишь, будет играть, как рыночная свистулька – одно и то же, одно и то же. А если кинешь и попросишь что-нибудь для души... Эх, тут он струны пальцами дёрнет, ногу на ногу забросит, и давай музыку выкидывать. Как будто и глаза новые у него вырастают от такой игры. Баба моя в дорогу мне две тридцатки сунула на всякий военный расход, так я их в картуз и выложил. Знаешь, чтоб мужиком на фронт не скучно было ехать. Не жалко, ей-богу... Сейчас бы время узнать...

– Половина второго.

– Ты откуда знаешь?

– Часы. – Он поднёс руку к глазам Чуева.

– Вот это да, не шуми тайга! Сами!.. Ночью сами время высвечивают. Ну, кошачьи глаза... Нечистая сила... Взял где?

– Отцовские.

– Я в гражданскую, когда Иркутск брали, много у офицерни часов видел. И золотые, и с музыкой... А чтоб со светом... Это хорошо. Ты у Рыбакова?

Он хмыкнул в ответ.

– Вот как здорово, не шуми тайга! Слышь... про часы молчи, а то в штаб куда заберут. А нам ночью без часов никак невозможно, да и музыкант всегда сгодится... Ты на чем можешь?

– На скрипке. Могу на альте. На арфе.

Чуев хотел было переспросить непонятные ему слова, но потом передумал и важно добавил:

– И это хорошо. Штука нужная, как и барабан.

Они, не сговариваясь, замолчали, окунулись в свои думы. В его голове стала оживать музыка, Только сейчас она рождалась лёгкая, почти воздушная. Чуев был занят более серьёзной мыслью: играли ли свадьбу у его Настасьи или нет? Её назначали на Спас. Да какой теперь Спас, когда всех мужиков повезли на фронт, даже музыкантов... По войне Настасье лучше быть дома. С матерью спокойней...

Из-за пелены облаков пробивалась полутускляя луна. Глядя на бледное пятно, казалось, что это умирающее дитя Вселенной смотрит последний раз на Землю. У Луны был болезненный вид.

В ночи без звёзд слышен был только ветер. Он где-то вдали продирался сквозь сухую подмерзлую траву и, добравшись до деревьев, стоявших особняком среди поля, начинал путаться в ветках, пытаясь сорвать последние пожухлые листья. И от каждого, даже слабого порыва все в окопе вздрагивали, настораживались.

Перед рассветом ветер разогнал тучи, и на небе появились выгоревшие за лето звезды.

Утро началось весело: из-за рожицы, что зловеще шумела ночью, показался красный ломоть солнца, и над полями, над самыми деревьями повисла белая морозная пыль.

Он почти не спал, ожидая шаркающих шагов матери. Из дрёмы его вывел предутренний холод.

Рядом, перегородив собой окоп, спал человек в огромных сапожищах, расстегнутом тёмно-зелёном ватнике. Глядя на позу, в которой тот лежал, можно было подумать, что это переломившееся толстое бревно. Шапка-ушанка съехала на нос. И как ни старался он разглядеть лицо соседа, кроме широких скул, перехваченных тонкими губами, и утиного носа, подерживавшего трюх, ничего не видел.

Взглянув на этого великана, хотелось сразу чуть отодвинуться, просто так, на всякий случай. Чуев спал, сопя громко, с посвистыванием. Его поза, расстегнутый ворот гимнастерки выдавали в нём человека, не привыкшего к тому, что называлось войной. От него исходил тёплый мягкий дух, как от остывающей домашней печки.

Почувствовав, что его внимательно рассматривают, Чуев открыл глаза, удивлённо посмотрел на толстые стекла очков и спросил, не меняя позы:

– Это у тебя часы? Сколько набежало?

– Скоро восемь.

– Проспали. Так мы, музыкант, если спать будем, то войну никогда не выиграем. Небось немец уже к самому брустверу подполз, не шуми тайга.

Чуев не спеша поднялся во весь рост и прошелся по траншее, заглядывая в лица людей. Торчал из земли, точно его вкопали по плечи.

Внимание старшего сержанта отвлек стремглав бежавший по полю серый заяц.

– Немца ещё не видал, а уже драпает. Под трибунал косога... – пробасил Чуев и, повернувшись к бойцам, скомандовал: – Подъем! Боец Рыбаков, пошлите человека к командиру сапёрной роты капитану Ахметшину – о жратве побеспокоиться. Выполнять! – Старший сержант улыбался. – А мы, ребята... Хотел сказать – девчата. Вчерась их тут было, как цветочков на лугу... А мы – хватайся за кирочки и лопаточки. Начнём закапываться. И быстро. За сегодня углубим эту траншею и начнём новую. Там, где колышки забиты... Может, кто из строителей имеются?.. Нету. Ну, а инженеры какие? Вот вы, папаша, кто будете?

– Историк-филолог, – ответил Вебер.

– Чегой-то я таких по нашему делу и не припомню. А ты?

– Парикмахер. – Дядя Коля ударил палец о палец, изображая ножницы.

– Тогда – за дело.

Всё пошло привычно. Он рубил киркой глину. Дядя Коля добирал за ним большие мерзлые куски и выбрасывал на бруствер.

Принесли еду.

Накладывая в котелок пшённую кашу, Чуев заметил:

– Кажись, началось.

– Что началось? – переспросил он, присаживаясь рядом со старшим сержантом на свежую глину бруствера.

– Чу, гудит.

Он давно услышал гнетущий гул, который едва заметно нарастал, заставляя подрагивать землю.

По морозному полю вокруг них суетливо забегали машины; танки, по два, по три, откуда-то появившись, перевалили через их траншею и исчезли, словно растворились в надрывном гуле. В разные стороны сновали люди группами и по одному. Ему показалось, что все вокруг заразились одной болезнью, заставлявшей людей непрерывно делать какую-то работу, не имевшую смысла, потому что не понимал этого непрерывного движения, казавшегося ему суетой отчаяния.

Над ними закружил самолет. Его надрывное гудение выворачивало нутро.

– Какой бестолковый ероплан, – сказал Чуев. – Два самолёта, одной доской перехвачены. Ну, чистое ярмо. А если шкворни повыпадают? Эй! – крикнул самолёту и улыбнулся своей утиной улыбкой.

Самолёт-ярмо сделал пять больших кругов и скрылся. Его сменил другой, поменьше, с двумя моторами. Этот вынырнул из облаков и на небольшой высоте стал кружиться над полем, будто выискивал что-то. Затем повернул в сторону окопов и с диким ревом пролетел над головами. Можно было даже различить гофры на обшивке.

Вокруг зашумели, стали ругаться, поминая летчика.

Окрики, гул далёкой канонады, рев самолетных моторов вдруг перемешались, слились в один. Ему вдруг показалось, что со всех сторон на него надвигаются стены. Ближе, ближе. Чёрные, в кровавых пятнах. Он испугался и медленно соскользнул в траншею.

– Чегой-то они затевают, не шуми тайга, – сказал Чуев, провожая взглядом двухмоторный самолет. – Эй, музыкант, заснул? Бери кирку.

Он оторвался от глиняной стенки, схватился за деревянную ручку кирки и с силой вогнал в землю острие.

«Почему я трушу? Почему мне страшно? – спрашивал он себя. – Это потому, что я не военный... Не трусил же я перед дирижёром. Не трусил и потом, когда хотели из оркестра прогнать... Проклятая музыка... Как я её ненавижу. Лучше бы я родился глухим. Тогда бы не слышал смерти... Как они смеются надо мной!.. Я не виноват. Я не умею воевать... Чуев умеет... И ему не нужна моя музыка... Она никому сейчас не нужна. Будь ты проклята!»

– Ты чего бормочешь? – спросил Чуев.

– Ничего. Это я так.

Он продолжал колоть дно траншеи и не видел, что все прекратили работу и неотрывно смотрели на горизонт, где небо облепили чёрные точки, которые быстро росли, приближаясь. Самолёты летели ярусами.

– Кремль бомбить... – голос Чуева оборвался, казалось, на полуслове. Но вдруг суетливо скомандовал: – Работать, ребята. Это не про нас... Эй, музыкант! Никак заснул? Еропланы... Ты их не бойся. Они мимо.

Он не слышал Чуева. Мысли перемешались. Страх не отпускал.

«Летят... Бомбить... Там, где дрова... Какие дрова?.. Это гудит на передовой. А если не хватит дров? Мама замёрзнет... Почему я не познакомил их... Им вдвоём было бы легче... Я – подлец! Обидел дирижёра... Нужно было сразу ему сказать, что так играть нельзя... Не подумал... Струсил... И здесь струсил... Я вообще никчёмный музыкантишка, если ругаю музыку... Просто трус... Дрянь! Дрянь!»

Он не видел, как от общей массы самолётов отделились шесть и, сваливаясь на левое крыло, ушли в сторону деревни. Они развернулись, затем прижались к земле и стали сыпать бомбы. Летели точно по линии их траншеи, кое-где виляя то вправо, то влево. За ними, взрываясь, закипала земля, и стелился дым.

– Взвод! Рыбаков! Все из траншеи в поле! В стороны!

«Нет, я никуда не пойду... Не пойду».

Чуев приказал и сам выскочил. Стоя на бруствере, протянул руку и достал за шиворот музыканта, который будто окаменел.

Он ничего не понял. Бежал, переставляя негнущиеся ноги. Его трясло, тошнило. Чувствовал, как сорванное нутро, поднимается, перекрывая дыхание. Рядом с ним бежал кто-то. Потом над головой пронёсся рев... И пламя...

Первое, что он почувствовал, – странный запах. Воздух пахнул жжёной землёй, сторевшим порохом, тлеющим деревом и ещё чем-то резким, тошнотворным. Этого последнего он никогда прежде не вдыхал. Втянул глубоко воздух и ужаснулся: пахло горелым мясом.

Этот запах принёс с собой стонущую боль в ногах и пояснице.

Он разлепил веки, пропуская сквозь узенькие щёлочки серый свет, а когда открыл глаза, то увидел перед собой серые жалкие травинки, присыпанные комочками свежeverытой земли. Стебельки почти касались стёкол очков и от такой близости казались огромными.

«Где я? Где все наши? Почему так тихо?»

Захотелось повернуться на спину. Резко приподнялся на локтях, но боль ответила ему коротким ударом. Когда внутри утихло, он осторожно перевернулся – сначала на бок, затем на спину. Собственное тело показалось непосильно тяжёлым.

В новом положении лежать стало легче, поясница ныла, а в ногах боль утихла. Над головой полз чёрный шлейф дыма, и так низко, что можно было достать рукой. Кое-где это бесконечно полотнище рвалось, перемешиваясь с серым воздухом, и становилось грязным.

«Где дядя Коля? Вебер? А где Чуев?»

Он снова приподнялся на локтях и стал смотреть по сторонам. Окоп оказался в метрах двадцати. Оттуда, как из только что вспаханной громадной борозды, торчали кругляки берёз и выглядывали ноги, обутые в ботинки.

– Товарищ Чу... – он осёкся на полуслове, увидев рядом с собой, в метре, Чуева. На зёёном ватнике виднелись вырванные клочья ваты, побуревшей уже. Из-под шапки к земле протянулась темная полоса, похожая на прилипшую грязь. – Чуев... – Хотел ещё что-то сказать, но руки разогнулись в локтях, и он снова упал на землю.

Он очнулся и увидел над собой непостижимо высокое небо, кое-где дырявившееся звёздами. Луна ещё не взошла. Попробовал поднять руку – не сумел. Её точно прибили к земле.

Ног не чувствовал вовсе. И не мог понять, холодно ли ему. Голова лежала на земле, но мерзлой глины он не ощущал. В первое мгновение, когда открыл глаза, сознание было ясным, затем голова налилась свинцовой тяжестью, и эта тяжесть поползла по нему, подминая грудь. В животе вдруг разгорелся костёр. Захотелось пить.

Огонь становился сильнее. Казалось, что он весь уже горит...

Сейчас он понял всё.

Перед глазами пробежала удивительно знакомая тень. Он попытался узнать. Но тень исчезла. Появилась другая и тоже знакомая.

На мгновение к нему вернулись силы. Он приподнялся, почти сел, попытался схватиться за край тени. Край отломился.

– Мама-а-а! За что?

Он тихо завалился на спину, сложив ладони лодочкой, как в детстве, когда падал с липы.

3

Илья открыл глаза и прислушался...

Рядом громко сопел старший брат Толя. В ногах, свернувшись клубком, лежала пегая кошка. Тесное пространство на печи под потолком ещё было затянуто ночной тьмой, а в избе уже хозяйничали рассветные лучи.

«Ура! – радостно воскликнул себе Илья. – Наконец, я проснулся первым! Сейчас разбужу маму...»

Вечерами, ложась спать, мальчик приказывал себе просыпаться первым. Он засыпал с тревогой, с боязнью завтрашнего дня. Эта боязнь тяготила его. И был уверен – если проснётся раньше всех, когда утро только-только заглядывает в окна, то узнает о наступившем дне всё наперёд, и тревога исчезнет, оставит его навсегда.

Грядущий день стал пугать Илью с того самого утра, когда погиб его отец...

Вечером, перед тем днём, собираясь как всегда к телятам, отец долго сидел за столом. Жевал холодную картошку и запивал молоком. Оставив пустую кружку, тяжело вздохнул и, поднявшись, сказал, неизвестно к кому обращаясь:

– Ой, чего ж это будет завтра?..

Это был прошлогодний сентябрь. Толя уже ушёл в школу, а мать давно на копку колхозной картошки. Илья у дверей хлева сортировал свою: отделял большие клубни от мелких и зелёных. Во двор въехала телега – дед Харитон вёл под уздцы вороную кобылу... На телеге в ватнике и красной рубашке лежал человек и смотрел одним мутным глазом в грязно-серое небо.

Илья понял, что на телеге лежит мёртвый, но не мог даже подумать, что это его отец: Ведь вечером тот уходил на работу в белой рубашке. И растеряно посмотрел на деда Харитона.

Старик споро освободил вороную от оглобель, оставив на шее хомут. Подхватил мальчика, усадил на лошадь и, дёрнув за оброть, торопливо вывел её на улицу. У Ильи перехватило дыхание. Вдруг случилось невозможное. Его самая большущая мечта сбылась – он ехал верхом. Ухватился крепко за хомут, прижался ногами к бокам лошади и, задыхаясь сладким ароматом лошадиного пота, представил себя кавалерьстом. Проехав несколько десятков метров и освоившись, Илья стал вертеть головой, надеясь, что его кто-то видит. И обернувшись, увидел, как по улице с платком в руках, чуть не падая, бежала мать...

– Марфа, займи мальчика, – сказал дед Харитон, обращаясь к полной седой старухе, когда въехали в чужой двор. Снял мальчика с лошади. И тяжело вздохнув, выдавил: – Лучше бы на войне погиб. От войны хоть малая, а польза... Пенсия детям...

...Отец вернулся с войны контуженным, с перебитыми пальцами левой руки, без одного глаза. Пятый год стоял сторожем при телятах. Его застрелил сын начальника районной милиции, повадившийся с дружками резать телят. Сторож застукал разбой. Держа наизготовку двустволку, уговаривал грабителей подобра убраться, а то не ровен час... Но молодые, здоровые парни, уже завалившие двух годовалых бычков, попытались отобрать у него ружьё. Отбилась бы боевой старшина, если бы были патроны. Только по распоряжению районной власти сторожу на дежурстве больше двух зарядов не полагалось... Первый, чтобы предупредить, а второй – кликнуть на помощь милицию, которая где-то за тридцать километров в районном центре отдыхала в ночь... Фронтной старшина увернулся от лихих рук налётчиков и из двух стволов наугад пальнул. Первая картечь угодила одному в плечо, а вторая – самому главному бандюге в ширинку. Тот в болевом угаре выхватил «Наган» и разрядил в сторожа весь барабан.

На перестрелку сбежался народ...

Всё бы, конечно, улеглось... Пока суд, то районное

начальство дело заболтало бы, утопило в чернилах, как в весенней грязи. В конце концов, обвинило бы одноглазого сторожа во всём. А суд бы согласился... Да на грех «Наган» оказался казённым – личным оружием самого районного начальника милиции. Сынок, когда собрался в очередной раз за мясом, в очередной же раз выудил его «только на ночь» из папашкиной кобуры.

Всего этого Илья не знал, а запомнил только толстого милиционера, который несколько раз приезжал после похорон на тяжёлом мотоцикле с коляской, привозил в серых кулёчках коричневые «подушечки»⁷ и большие, облитые твёрдым, сладким молоком, пряники, и о чём-то подолгу разговаривал с мамой. А в последний приезд, после тягостного сидения за столом, забрал конфеты назад, выругался на мать, и из сеней крикнул:

«С голоду у меня по миру пойдёте!»

Без отца в хате стало пусто и тревожно. Даже мать перестала напевать, возясь у печи.

С тех самых дней, забираясь на печь ночевать, Илья долго лежал с открытыми глазами, вслушиваясь в пугающие ночные звуки, что прилетали со двора, вспоминал свет ушедшего дня. Ему казалось, что он тем самым отгоняет от себя ночь и её гнетущую темноту, хранительницу тревоги.

«Если бы я знал, что будет завтра, – думал он. – Я бы... – Но на этом мысль обрывалась. – Папа не знал. А мама знает. Идёт на работу, говорит: «Сегодня не ходите по улице. Будет дождь». И обязательно дождь капает».

Однажды Илья спросил у мамы:

«Как ты про всё наперёд знаешь?»

«Потому что рано встаю, – ответила мать. – Кто рано встаёт, тому Бог подаёт».

Илья освободил ногу, на которой лежал кот, стараясь не спугнуть животину, чтобы тот не спрыгнул с печи раньше его.

«Сегодня Толькина очередь выгонять корову, – вспомнил он. – Мама, как встанет, возьмёт подойник и пойдёт в хлев... А когда вернётся, станет будить Тольку... Тот начнёт брыкаться и локтями биться... Лучше я пойду за него. Я никогда ещё на улице не был первым... Всегда кто-то уже ходит, когда я выхожу...»

Но входная дверь в избу звонко лязгнула щеколдой, раздался глухой удар – это мать поставила подойник на лавку у печи... Зашумело молоко, процеживаемое сквозь марлю...

«Опять день будет неизвестным...» – Илья огорчился, поняв, что снова проспал. Он соскользнул с печи на лежанку, натянул штаны на худые ноги и спрыгнул на пол.

– Чего это ты в такую рань? – спросила мать. – Толина очередь сегодня.

Но Илья не ответил. Молча полез под печь.

– Ты чего там забыл?

Мальчик достал из-под печи верёвочный кнут на длинном кнутовище.

– Откуда это у тебя? – удивилась она. – Толя сделал?

Илья отрицательно повертел головой. Он давно сплёл кнут из кусочков пеньковых бечёвок, подобранных в колхозном амбаре. И только вчера сделал кнутовище из сухой тонкой вишнёвой ветки. А спрятал, чтобы старший брат не отобрал.

Он вышел из избы. Остановился на пороге и прищурился. Ранние, но уже жгучие августовские лучи, облили его худое смуглое тело приятным, ласковым теплом. Ступил на землю. И она, не успевшая остыть за ночь, тоже подарила ему тепло.

В хлеву чернобокая корова медленно повернула голову, с надеждой посмотрела на мальчика огромными масляно-коричневыми глазами, в уголках которых горели яркие, призывные светлячки. Ей надоело стоять в тёмном сарае, и она не могла дожидаться, когда позволят выйти.

⁷ Подушечки – сорт дешёвых конфет.

«Опять я босой по навозу, – с сожалением подумал Илья. И смело ступил на холодный пол хлева. – Как ботинки, так Тольке первому... А мне после него... и только рваные... Я с весны всё время босиком хожу...»

Почувствовав возле себя человека, корова угодливо наклонила голову, предлагая, наконец, отпустить её в стадо. Илья отодвинул отгородку. Марта оттолкнула мальчика в сторону надутым животом, торопливо пошла во двор. Ей вслед призывно и жалостливо замычал телёнок...

Корова деловито шла по пустой улице, стараясь на ходу ухватить листочки с веток сирени, выбивавшихся из-за плетёных изгородей. Илья семенил следом. Нёс в руках кнут, и хотелось, чтобы корова вдруг залезла в чужой двор или хотя бы остановилась. Тогда он смог бы крикнуть на неё и пустить в ход новый кнут. Но животина торопливо переставляла ноги, спеша в стадо.

«Не проснулся раньше мамки, зато на улице я первый», – радостно подумал Илья и, понимая, что не дожётся, когда корова заберётся в потраву, размахнулся и с силой резанул кнутом воздух перед собой. Кнутовище изогнулось, плетёная бечёвка завертелась змеей и гулко выстрелила. Корова испугалась, побежала.

На пустом выгоне у колодца сидел пастух дед Афанасий в ожидании стада. Подогнав корову к колодцу, Илья глянул на старика и испугался. Тот смотрел на мальчика пустым взглядом выцветших белёсых глаз и, как показалось Илье, не видел его. Подумалось, что пастух умер.

«А кто же погонит стадо!?! – испугался мальчик. – Коровы колхозу потраву сделают... Сафрон-пасечник за потраву трудодни заберёт... А то и корову со двора сгонит! А зимой нельзя без коровы! Погоню Марту обратно... Пусть лучше по двору ходит...»

Но старик вдруг встрепенулся и, увидев перед собой мальчика, спросил:

– Это ты, Верещага... Тебе сколько лет?

«Тольке десять... – соображал Илья, – значит, мне шесть... А зачем ему знать про это?..»

– Не хочешь говорить, – согласился со своими мыслями старик. – Молчать лучшее всегда... Я у вас во дворе через неделю стою. А сегодня я у Вальки Рыбака... – Пастух снова провалился в сон. Рот его открылся, выказывая пяток, одиноко торчащих зубов – два сверху и три снизу.

«Марту надо домой! – решил Илья. Хотел побежать к корове, которая мирно паслась. Но увидев, что из переулков на выгон гнали коров, остался стоять в растерянности. – Погоню назад – станут смеяться...»

– Эй, дед, принимай! – К колодцу подошёл Валька Рыбак, молодой мужик в серой рубашке и соломенной шляпе. Протянул старику тряпичную сумку с едой. – Гляди, не засни, дедуля!

– Не бойсь, – ответил пастух. Взял сумку, заинтересованно заглянул в её нутро, и радостно улыбнулся. – Вот, хотел к тебе на Троицу попасть – не вышло. Считал... на Петра попаду – опять не вышло...

– Не переживай, дед! – сказал Рыбак. – Вечером я налью тебе стопку. И за Троицу, и за Петра, и за Павла... А ты, Илья, почему такой хмурый с самого утра?

– Это уж не забудь... – ответил вместо мальчика Афанасий.

«Про Петра и Троицу дед говорил и вчера. Только тётке Варьке, – вспомнил Илья. – Почему дядя Валька не видит, что дед мёртвый?.. Скажу мамке. Она заберёт

Марту во двор

* * *

Илья побежал домой. На улице повстречался дед Харитон. Он ехал на телеге и гнал рядом с собой комолую корову.

– Илья, приходи на конюшню, – сказал старик. – Будем зерно с тобой возить.

Илья кивнул, соглашаясь, и побежал дальше.

Когда подбегал к своей избе, то увидел, что из их двора вышел объездчик Сурчина, ведя за повод лошадь под седлом. Это насторожило мальчика. Сурчина каждое утро развозил по селу задания председателя на работы. Опасаясь хозяйских собак, он всегда въезжал во дворы верхом, и, оставаясь в седле, подводил коня боком к окну избы, стучал ногой по стеклу и, наклонившись, громко выкрикивал задания на день. А после Троицы Сурчина стал заходить к ним в дом, чуть ли не каждое утро.

«Опять к мамке приставал...», – решил Илья. Он давно заметил, что мать недолюбливает Стёпку. И эта неприязнь передалась Илье. Сейчас захотелось хлестнуть кнутом объездчика. Но тот прошёл несколько шагов по улице, запрыгнул в седло и, поддав коню каблуками в живот, проскакал громким галопом до калитки соседнего двора, скрылся за тыном.

В сенях Илья спрятал кнут за большой сундук и открыл дверь в хату.

Мать действительно ждала его. Как только он вошёл, строго сказала:

– Я на ток... – Лицо её было суровым, недовольным. Глаза взволнованно бегали по хате. – Молока мне приносить не надо. Там будут кормить. А вы с Толей возьмите корзины, ножи, и нарежьте ботву телёнку на свекольном поле. Только смотрите, не попадитесь объездчику. Запомнил?.. А вечером молодой картошки нароем.

Илья кивнул, соглашаясь, и подумал:

«Вчера тоже обещала нарыть... И позавчера...»

– Ты понял? Чего молчишь? – недовольно спросила она. – С утра язык проглотил?

Илья смотрел на мать и понял, что она не побежит за коровой, если он расскажет про мёртвого пастуха.

– Иди, ешь! – приказала мать. – Прикроете всё на столе чистой тряпицей за собой! Чтоб мухи не засидели!

Она хлопнула дверью...

Только мать ушла, Толя соскочил с печи и бросился к столу. Схватил кусок сухого хлеба, макнул в глиняное блюдце с подсолнечным маслом и отправил в рот.

Илья тоже жевал сухой хлеб, обмоченный в масло, и думал:

«Только сейчас предложит идти бить воробьёв. Они вкусные, когда жаренные... Да полдня битую метать надо, чтоб десяток набить. И Только заберёт самых больших себе... А воробьи, всё равно, вкуснее, чем это голое масло с солью...» – Он налил в кружку молоко из крынки, окунул в него хлеб и принялся наблюдать, как тот разбухает... – Мама обещала нарыть молодой картошки... А вечером опять забудет про неё... Налёт молока и заставит голодным лезть на печь спать...»

Толя запихнул в рот хлеб и, запив молоком, с трудом проглотил эту жвачку, и сказал:

– Сейчас пойдём к деду Харитону.

Илья с любопытством посмотрел на брата.

– Он с тобой дружится... – пояснил Толя. – Пойдёшь?

После смерти отца дед Харитон действительно крепко прижил к себе Илью, как будто откупался. В ту трагическую ночь старик должен был дежурить в телятнике. Но уговорил Верецагу поменяться днями. И теперь, если едет мимо их двора, всегда остановится, подзовёт мальчика, посадит в телегу и везёт к себе. В хате усадит за стол и угощает чем-нибудь. Один раз

давал даже чёрно-коричневый сладкий мёд. А когда угощает его жена бабка Марфа, то старик всё время недовольно ворчит и бубнит себе под нос:

«Дай дитю больше... Всё тебе жалко...»

Толю старик тоже привечает, но молча, не крепко, без ворчания.

Прожевав, брат с серьёзным видом заговорил быстро:

– Придёшь... В избе, на косяке дверном... на гвозде

новый кнут висит. Я был и видел... Когда бабка Марфа выйдет, ты снимешь с гвоздя, отлочишь голову от кнутовища, и хвост в карман спрячешь. – Брат говорил уверенно, точно знал наперёд, что Илья сделает так, как он задумал. – Я этот кнут на пачку «Ракеты»⁸ выменяю. Мне обещал один... из Павловской Слободы. Он у своего старшего брата две пачки своровал...

Дождавшись, когда Илья допьёт молоко, Толя скомандовал:

– Пошли. Сразу скажешь Марфе, чтоб она тебе кислого молока из погреба подняла. Она туда... как черепаха. А ты быстро сломаешь, а палку под печку сунешь. – У Толи вдруг загорелись глаза. Он говорил и, должно, видел всё придуманное вживую. И нетерпение обжигало его нутро. Уже представлял, как курит городские папиросы и ловит завистливые взгляды товарищей. – Пока она слазит в погреб, ты успеешь... Пошли...

«Я кнут уворую, – подумал Илья, – а дед всё равно узнает, кто... И никогда не пустит на конюшню».

Он вдруг искривил лицо в болезненной гримасе, схватился за живот и побежал в сени. Оттуда выбежал во двор, за хлев, упал в бурьян у самой навозной кучи и притаился. Свежий навоз, который мать выбросила утром, ядовито резал ноздри и пробирался внутрь, заставляя живот болезненно сокращаться. Но Илья терпел, не желая выдать себя...

Не дождавшись брата, Толя вышел во двор и громко закричал:

– Илька! Илька, прибыю!

Но, не получив ответа, выругался и ушёл на улицу.

* * *

Оставшись один, Илья решил пойти на конюшню. Он по утрам, если не было большого задания от матери по хозяйству, ходил туда, чтобы напроситься с кем-нибудь из конюхов отвести лошадь на луг, поехать без седла. Таких лошадей было всегда две. Они всю ночь возили воду на фермы. Утром их меняли другие. Усталая животиная была послушна и не спеша брела по дороге, даже не замечая маленького седока.

Конюшня – длинный глиняный сарай без окон, крытый соломой, притягивал Илью своей полутьмой и пьянящим запахом конского пота. Когда он входил в его мрак, дальние, всегда широко раскрытые ворота казались ему выходом в неведомый мир, где свободно скачут огненно-гривые кони, а он бежит рядом с ними, как равный.

В конюшне было пусто. Даже денник, где стоял гнедой жеребец колхозного председателя Сафрона-пасечника, пустовал. Лишь ласточки и воробьи деловито летали под соломенной крышей.

«Значит, все кони молотят», – понял Илья и пошёл на ток.

Дорога уходила в поля. Слева разлилось жёлтое половодье вызревшей ржи. Справа степной высилась кукуруза. Земля на дороге крепко прогрелась и, казалось, что это от неё исходит жар, который пропитал воздух, заставил поникнуть жёлтую рожь и уже начал угнетать неприступную кукурузу, листья которой тоже поникли, прихваченные желтизной. Только острые початки, выбросив наружу коричневые чубы, гордо смотрели в небо.

⁸ «Ракета» – сорт дешёвых папирос.

У противоположного берега золотого моря медленно плыла жнейка, жадно размахивая большими крыльями, словно хотела взлететь. За ней, будто из глубины на гребень жёлтой волны, выныривали белые косынки – это женщины вязали снопы.

Впереди, в двух шагах, заигрывая с мальчиком, две молоденькие трясогузки семенили короткими ножками. Когда же Илья приближался к ним очень близко, и казалось, что уже может схватить одну за беспрерывно пляшущий хвостик, птички перелетали на метр вперёд, и снова бежали по песку. И мальчик решил, что эти серые птахи сопровождают его, чтобы он не заблудился...

Всё вокруг жужжало и стрекотало. Наглый серый слепень норовил усесться Илье на руку, а тот безуспешно пытался прихлопнуть кровососа. И это походило на игру.

Из ложбины на пригорок вдруг выскочила жнейка. Её тянули две гнедых кобылы. Жнейка, опускала крылья на стебли ржи, как кавалерьст саблю. А те безучастно и покорно сминались под безжалостными ударами. За скрипящей машиной по свежему покосу на негнущихся ногах бежал вороной четырехмесячный жеребёнок, скучно повесив голову, увенчанную большой белой звездой во лбу. Увидев Илью, маленькая лошадка остановилась испуганно. Но, должно, поняв, что перед ней такое же дитя, как и самоё она, заносчиво изогнула шею дугой, завернула голову в сторону, и, задрав трубой, коротенький чёрный хвостик-метёлочку, стремительным, горделивым галопом, проскакала рядом с мальчиком, обгоняя жатку...

На току, трактор с большими задними колёсами, утыканными острыми треугольными шипами, недовольно бухтел. От него к огромной молотилке, похожей на хату, только без крыши, тянулась змейй широкая лента, беспрерывно качаясь и норовя соскочить. Машина тряслась, дёргалась множеством больших и маленьких рук-мотовил. Этот гремящий дом задавал ритм всему, снующему рядом, подвозящему и отвозящему. Казалось, сломайся какая-нибудь люшня у молотилки – и всё остановится, замрёт. Люди, лошади, вейлки словно чувствовали это и боялись остановки, и из последних сил бежали вперёд. Только пара волов, тягавшая волокушей солому от молотилки на огромную скирду, не замечала ничего вокруг, и равнодушно переставляла ноги по утрамбованной земле.

На самом верху молотилки стоял Валька Рыбак по пояс голый. С арбы, запряжённой белыми волами, две бабы швыряли ему снопы. А он ловко подхватывал их, запикивал в трясущееся нутро машины. Загорелое тело Рыбака, облитое потом, облепила пыль от колосков. И Илье казалось, что дядя Валя сам превратился в сноп и готов прыгнуть в молотилку...

«Мне бы такую машину, – подумал Илья. – Маме и Тольке не нужно было бы мотать цепами... Сразу зерно выходило бы. Я бы по дворам на ней ездил и всем бы молотил...»

С другой стороны молотилки две женщины ловили тонкий зерновой ручеёк в плетёные корзины. Когда одна корзина наполнялась, женщина относила её к вейлке и возвращалась. За ней следовала вторая.

Возле вейлки Илья увидел мать. Она крутила большое колесо. Лицо было закрыто белой косынкой. Тугая, крепкая спина намокла, и белая кофточка прилипла к ней. Илья видел, что мама через силу крутит колесо, но почему-то не может оставить его, точно приросла к ручке. А колесо, не останавливаясь, тянет за собой материнские руки, не желая отпускать. Её товарка, подхватывала тяжёлую корзину, высыпала зерно в вейлку. Бросала корзину на землю, и большой деревянной лопатой начинала отгребать провеянное зерно в сторону.

Илья хотел подойти к маме, но его кто-то толкнул в плечо. Обернулся. Перед ним стоял брат.

– Пойдём, – загадочно шепнул Толя. – Корзину свистнем. И на речку... за рыбой.

Илья посмотрел на брата, и завертел головой, не соглашаясь.

– Только потом не проси рыбу! – недовольно буркнул брат, и исчез.

Со скирды пара волов стащила волокушу. Её подтянули к молотилке, и Валька Рыбак открыл дверь-решётку у машины. Из бункера с возгласом облегчения на волокушу упала гора соломы.

Волов увели.

– Садись, Илья, – крикнул Рыбак. – Поедешь на скирду.– Он спрыгнул с молотилки на землю, подхватил мальчика и забросил на гору соломы.

Илья провалился в горячую траву с головой, точно в колодец. На его дне было ещё жарче, чем на земле. А над головой белел клочок выгоревшего неба, в котором чёрной точкой парил коршун. Откуда-то снизу, из-под его ног послышалось громкое шуршание – кто-то большой нервно копался в соломенной куче.

«А если это хорь? – подумал Илья, пугаясь. – Мама говорила, что они сильно кусаются...»

Он попробовал выбраться наверх. Но гора вдруг дёрнулась и медленно поползла. Наклонилась и с шипением стала забираться куда-то вверх. Остановилась на скирде.

На такой высоте Илья ещё никогда не бывал. Земля, оказавшаяся далеко внизу, выросла и разбежалась во все стороны... Стука трактора почти не было слышно. Молотилка сделалась похожей на телегу. Он хотел увидеть мать, но с трудом отыскал взглядом лишь веялку, которая показалась ему меньше спичечного коробка.

А вокруг, во все стороны, расходились жёлтые волны – ветер гулял по колосьям ржи, то нагибая их к земле, то заставляя тянуться к солнцу. Четыре серые дороги резали поля на большие куски. По одной пара волов медленно тянула большую арбу со снопами. А у самого края поля жнейка размахивала крыльями. В другой стороне, за ржаным полем, за низкорослой молодой лесополосой, зеленело озеро свекловичной ботвы. Дальше, у самого края земли, похожая на серебряную ниточку, блестела речка. За ней, далеко-далеко на лугу, у самого леса, были разбросаны маленькие разноцветные точки – это паслось деревенское стадо... И лишь чёрный коршун гордо парил в вышине выпцветшего неба, одинокий и недостижимый...

Двое парней раскидали вилами копну, и Илья, к своему удивлению, оказался на скирде рядом с братом. Тот возился у края скирды, размахивая руками, переговариваясь с кем-то, кто был внизу. Потом Толя кубарем скатился со скирды, и исчез. У него это вышло ловко. И Илье захотелось скатиться также. Он закрыл глаза, чтобы не бояться, прыгнул, и покатился по склону.

На земле гул трактора перекрикивала женщина.

– Кто взял корзину? Моя корзина...

Но её никто не слышал. Молотилка тряслась. Мать крутила колесо веялки, а товарка гребла деревянной лопатой.

Рядом с матерью стоял объездчик Сурчина. Он что-то говорил ей, побивая себя кнутовищем по голенищу.

Илья хотел подбежать и оттолкнуть Сурчину, чтобы он не приставал. Но на ток въехал дед Харитон на телеге.

– Илья, – позвал он. – Поди-ка до меня. Ты почему не пришёл на конюшню?.. Поедем-ка в амбар зерно возить.

Старик подвёл лошадь к мешкам с зерном, взялся бросать их в телегу. Когда закончил, усадил мальчика на мешки, отдал ему вожжи, тронул лошадь, а сам пошёл рядом. Он был высок и худ. Длинное лицо с острым подбородком накрывал сверху маленький картуз. Старик напоминал гвоздь. Дед ходил, широко ставя тонкие ноги. Со стороны казалось, что это неудачно сбитый аршин идёт по полю без землемера.

– Ты чего не приходишь до меня? – спросил дед Харитон. – Бабка Марфа тебя бы дерунами накормила. Толька твой, вот, приходил... а ты не хочешь.

Но Илья не слушал. Он тонул в счастье. Даже задыхался от радостного волнения: ведь сам управлял конём и телегой.

«Почему я не взял свой кнут?.. – раздосадовано подумал Илья. – Вот если бы проснулся раньше всех, то обязательно знал, что дед позволит конём управлять...»

Ему хотелось, чтобы его увидела мама. Оглянулся на ток. Но мать стояла к нему спиной и надсадно крутила колесо веялки.

– Но, пошла!.. – громко крикнул дед Харитон, и запрыгнул на мешки: – Без кнута не хочет тянуть!.. Одно несчастье приключилось... Кнут потерялся где-то. Новый. А потерялся.

«Это Толька его украл, – хотел сказать Илья, но промолчал. – Если скажу, Тольку дед поймает и выпорот. И матери выговорит. Тогда совсем беда...»

Старик принялся закручивать в газетный клочок самосад – из кисета от махорки пошёл острый, щиплющий аромат. Он долго чиркал спичками о коробок, недовольно мыча. Наконец, над полем поплыл густой, сизый дым.

– А мы с твоим батькой хотели этим летом печки пойти складывать, – сказал дед Харитон. Должно, дым навёл его на эту мысль. – Я его перед самой войной научил глину вымешивать и межигорку⁹ подбирать... Он обещал тебя выучить на печника. Да не сподобил Господь. Да ты ещё малый крепко для печников... Вот, вырастешь, какую девку для себя присмотришь... А хоть мою внучку... Нет. Ты жидковат годками пока, Илька... Она, вона, уже книжки читает про царей египетских и цезарёв императорских, что до нас на Риме стояли. А ты подрастешь, я тебя обязательно выучу печки складывать... Это тебе для всей жизни сгодится... Потому, как нашему человеку от роду наказано жить с летом и с зимой. А, значит, без печки в наш мороз околеет... А потом ты своих детей выучишь печки складывать... – Дед Харитон скрутил новую самокрутку, прикурил от первой. – У тебя сколько детей будет?

Илья растеряно пожал плечами.

– Тебе про это думать рано. Годков через двадцать сам удумаешь без моей помочи...

Въехали в кукурузное поле. Сразу стало жарко и душно, как в соломенном колодце.

Из-за поворота вдруг выросла гнедая лошадь. Голова её была высоко вздёрнута, и вышалаась над худыми долговязыми кукурузными стеблями.

«Вот бы мне такого... – с восторгом подумал Илья, любясь вороным жеребцом. Но узнав бричку председателя, испугался. – Сейчас начнёт ругаться...»

Сафрон-пасечник остановился рядом с ними. Он и дед долго переговаривались. Потом старик снял с телеги один мешок и перебросил его в председательскую бричку. Илья заметил, что на мешке была большая красная заплатка.

Жеребец с места взял галопом, хоронясь от мира за плотной завесой пыли.

– Хозяин, – словно оправдываясь, объяснил дед, запрыгнув на мешки. – Чтоб нам круги не давать, отвезёт на птичник... Погоняй, Иля.

Поле закончилось. Дорога разломилась надвое. Дед Харитон спрыгнул на песок, взял лошадь за оброть, повёл по той, что жалась к хозяйским огородам.

«Амбар совсем в другую сторону», – подумал Илья озабоченно.

Лошадь свернула с дороги в огорода. Пошла по ржаной стерне, тяжело вытягивая гружёную телегу. Старик дергал нервно за уздечку и что-то недовольно выговаривал себе под нос. Илья понял, что он ругает коня.

Въехали в молодой низкорослый сад, и оказались во дворе Харитоновой хаты.

– Иди, Иля. Марфа дерунов даст. – Старик снял мальчика с мешков, поставил на землю и подтолкнул легонько в сени. Торопливо прикрыл дверь. Но она не захлопнулась плотно. И сквозь щель Илья видел, как дед подбежал к телеге, ловко спихнул с нее упитанный мешок с зерном, подхватил вожжи и, молодецки запрыгнув на грядку, громко крикнул: – Но, пошла!

Телега с грохотом уехала.

⁹ Межигорка – специальный печной кирпич.

Бабка Марфа, была закутана в толстый платок, который своими концами поддерживал подбородком. Над верхней губой росли редкие усы. И из усов торчала большая красная горошина-бородавка. На ногах – стёганные чёрные валенки. От неё пахло дрожжами и свежее испечённым хлебом. Она усадила Илью за стол. Поставила перед ним тарелку со сметаной и пятью тёмными лепёшками.

– Ешь. Толя сегодня с утра заходил. Ел... Молодец. Быстро управился. Хорошо будет работать.

Сказала и вышла, оставив после себя кислый аромат.

Илья взял дерун, обмакнул его в сметану, принялся жевать. Тесто оказалось солёным. Мальчик искривил губы, заставил себя проглотить кусочек, который был во рту, остальные деруны сложил в карман штанов.

«Отдам Жучку...» – подумал он, и принялся вылизывать сметану.

Марфа вернулась и, увидев пустой стол, радостно сказала:

– И ты, Илья, будешь хорошо работать... Человек как ест, так и работает... Ну, ходи здоров!..

Илья соскочил с лавки и выбежал из хаты. Сейчас думал только о собаке.

Мешка во дворе уже не было.

«Наверно дед Харитон забрал, пока я ел», – мелькнула мысль. И побежал домой.

В своём дворе Илья встал возле конуры Жучка и, отрывая от лепёшки кусочки, пробовал научить собаку стоять на задних лапах. Пёс, увидев еду, только прыгал, стараясь выхватить её из рук мальчика. А на задние лапы становиться не собирался.

Во дворе появились Толя и его друг, курчавый, черноволосый, неулыбчивый Вася Бортник. Вася держал в руках плетёную корзину.

– Пошли рыбу ловить! – крикнул Толя, увидев брата.

Илья радостно улыбнулся, бросил собаке остатки дерунов, пошёл следом за братом

* * *

На реке было пусто. Только наперегонки летали береговые ласточки.

Ребята разделись догола, залезли по пояс в воду.

– Ты иди, загоняй! – приказал Толя брату.

Он и Вася взяли корзину, опустили в воду и поволокли по дну вдоль берега. Илья стал прыгать в воде, двигаясь навстречу. Шум и брызги разлетались от него во все стороны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.